



АЛЕКСЕЙ НЕБОХОВ

ШОУ БОМБАЦИО

18+

Алексей Небоходов

Шоу Бомбацио

«Автор»

2026

Небоходов А.

Шоу Бомбацио / А. Небоходов — «Автор», 2026

Алина живёт и не знает, что за ней подглядывает вуайерист с биноклем из дома напротив. Вскоре она становится его жертвой, попав в ток-шоу Бомбацио, где выход на свободу должен быть оплачен десятью оргазмами. Тридцать дней в закрытой деревне. Семеро мужчин, заплативших по двести тысяч за право оказаться рядом. Браслет на запястье, который считает то, что не подделать. Прямой эфир без монтажа и двадцать миллионов зрителей, оплативших подписку. Один из семерых — тот самый человек с биноклем. Она не знает, кто именно. Она вошла туда жертвой. Она выйдет оттуда кем-то, кого никто не планировал выпускать. Вы бы тоже посмотрели. Не притворяйтесь.

© Небоходов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Человек с биноклем	5
Глава 2. Невидимая	10
Глава 3. Контракт	18
Глава 4. Аукцион	27
Глава 5. Холлоуфилд	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Алексей Небоходов

Шоу Бомбацио

Глава 1. Человек с биноклем

Говорят, что любопытство — не порок, а большое свинство. Изначально, конечно, человеческая пылливость к неизвестному была двигателем прогресса. Но за множество поколений невинный, почти научный интерес ко всему чужому превратился из залога развития в бытовое проклятие. Чужие окна, чужие сообщения, чужие лица — всё это манит, прельщает и завораживает, особенно когда в собственной жизни смотреть не на что.

Если раньше любопытство доводило до открытия Америки, то теперь, в лучшем случае, оно доводит до помоечных срачей в локальных чатах, а в худшем — до тихой ненависти к соседям по лестничной клетке. Настоящие гурманы этого чувства ищут более острых удовольствий: подглядывают, подслушивают, читают между строк, собирая из обрывков чужого быта картину, которая так и не складывается до конца. Кто-нибудь непременно скажет, что любопытство — форма любви. Может, и так, только любовь эта с самого начала изуродованная: любовь к тому, чего не можешь получить. На Доггетт-роуд это понимали по-своему.

Дождь, как всегда бывало весной, стучал по стеклам, толстые капли сливались в ручейки, чтобы, скользя по откосам, упасть на залитый водой тротуар. На улице — всё те же уставшие машины и фонарь на углу, бросающий сбоку синеватый свет, не достигающий входной двери. Викторианский дом с потолками выше человеческого роста и коридорами, сохраняющими сырость даже летом, стоял на этом месте больше века, а теперь служил пристанищем для нескольких человек, каждый из которых старался не привлекать к себе лишнего внимания. Квартира номер сорок два занимала правую сторону второго этажа — аккуратно за оконным проёмом с белой тюлевой шторой. Парень за этой шторой появлялся редко. Настоящая жизнь разворачивалась на верхнем этаже дома напротив — и мужчина в сорок второй квартире знал это лучше, чем кто-либо на этой улице.

Ночью ни один предмет в комнате не выглядел новым. Обои с выцветшим рисунком неопределённого цвета покрывали стены до самого потолка. Кресло у окна — продавленное, с затёртыми подлокотниками — перекошилось так, что спинка держалась только за счёт собственного веса. Книги покрывали все горизонтальные поверхности: стопками вдоль стен, на подоконнике, на стуле — выцветшие оранжево-чёрные корешки Penguin Classics, Борхес, Кафка, Набоков. Выбор книг не был случайным.

Видавший виды деревянный стол со следами от горячих чашек, в чернильных разводах, со сдвинутыми на угол бумагами, стоял вплотную к окну. Посередине на нём лежала стопка распечатанных листов — страницы чужого романа с чужой фамилией на титульном листке, скреплённые зажимом. В тексте — подчёркнутые красным карандашом фразы, на полях — восклицательные и вопросительные знаки, иногда короткое «да», иногда — выноска с замечанием. Почерк — мелкий, аккуратный — не каракули фаната, а заметки читателя, убеждённого, что понимает текст лучше автора.

Рядом стоял раскрытый ноутбук, яркое пятно экрана слепило посреди всего этого запустения. Но самым ярким оставался жёлтый прямоугольник окна в доме напротив, где всегда горел свет — то тусклый, то слишком яркий, как у людей, которые не могут по вечерам заставить себя лечь спать вовремя. Он знал: она — та, которая обитала за освещённым окном напротив — читала. По четвергам она читала допоздна, потом вставала, чтобы заварить чай, и всегда проливали немного мимо чашки.

Бинокль лежал на краю стола, на светлом месте, он был там всегда. Никто не оборачивал его тканью, не убирал в коробку, не прятал в ящик — чёрный пластик корпуса с тиснёной надписью, которую можно было прочесть на ощупь, всегда был под рукой. Хозяин квартиры к нему давно привык, как привыкают к степлеру или чайнику: иногда он лежал на подоконнике, иногда рядом с ноутбуком, иногда был прямо в руках. Ничего необычного. Инструмент. В последние недели мужчина чаще всего держал оптику обеими ладонями, не крепко, а рассеянно, как держат телефон в вагоне подземки — взгляд скользит по экрану, потом возвращается к окружающему миру, и ничего не происходит.

Белая чашка из-под чая стояла на подоконнике — холодная, на стенках — отпечатки пальцев и коричневый след от заварки, который не отмывался уже несколько дней. В комнате пахло бумагой, осевшей пылью и чем-то тонким, едва ощутимым — остатками дорогого одеколona, единственной непрактичной вещи, которую мужчина себе позволял. Запах давно выветрился из воздуха и сохранился только на рубашке, висевшей на спинке кресла. На полу, под столом, стояли стопки бумаг — аккуратные, с бумажными закладками, перевязанные и подписанные карандашом, и ещё одна, потяжелее — на стуле рядом. Она ждала своего часа.

Пространство комнаты было вытянуто к оконному проёму, и всё важное для хозяина было сосредоточенно у окна: всё другое не имело значения. Немногочисленные вещи стояли так, чтобы рука легко дотягивалась как до них, так и до оконного стекла. Над столом, прямо на обоях, цветными кнопками были закреплены распечатки — испачканные чернилами, с загнутыми краями. Это были фотографии: ночные, с примесью синего свечения, с размытым силуэтом в белом светящемся прямоугольнике через дорогу. Некоторые делались днём, наскоро, в спешке — на них не было видно ни лица, ни жеста, только фон, характерный изгиб плеча, иногда размытый облик в отражении. Каждый снимок выглядел зернистым, будто его делали через фильтр дождя или сквозь мутное стекло. Мужчина не считал их коллекцией. Это была хроника — подробная, терпеливая, почти научная. Так натуралист документирует повадки редкого существа, не допуская мысли, что существо может возражать.

Наблюдатель стоял у окна, не приближаясь вплотную, — так, чтобы тень не падала на потолок, что было бы заметно с улицы. Бинокль привычно лежал в обеих ладонях. За стеклом размытое дождём пятно света из квартиры напротив дробилось на десятки бликов: нижняя кромка рамы собирала их, потом отпускала, и капли ползли дальше, унося за собой очертания. Так выглядела обычная ночь, которая всякий раз начиналась одинаково: без свидетелей, без изменений.

Выражение лица мужчины не менялось. На нём не отражалось ни усталости, ни азарта. И нервного ожидания, какое бывает у человека в предвкушении соприкосновения с тайной, тоже не было. Он смотрел через улицу так, как другие смотрят в потолок перед сном: взгляд чуть затуманен, едва фиксирует детали, и всё, что происходит, — это просто способ прожить ещё один вечер. Впрочем, он бы не согласился с таким описанием. Он бы сказал: внимание. Просто внимание, которого она заслуживает и которого не получает от остальных.

В эту ночь он ждал её. Целую неделю в окне напротив не было видно ничего, кроме тени, мелькнувшей раз или два. Он не задавался вопросом, почему или зачем. Просто ждал и смотрел.

Сперва она не появлялась, и лишь спустя полчаса после того, как включился свет на лестнице, за белой шторой началось какое-то движение. Мужчина не торопился. Рука сама нашла бинокль, поправила окуляр, наводя резкость — к другой оптике он давно не прикасался, не та чёткость, не тот вес. Через линзы всё выглядело иначе: контуры неяркие, чуть размытые, и всё же предельно близкие, словно улица, дождь и стекло между ними куда-то исчезли. Пятнадцать метров — почти ничего. Иногда ему казалось, что они делят одну комнату.

Она вошла не сразу. Сначала он заметил движение у самого края окна: едва различимые пальцы коснулись подоконника, потом мелькнул силуэт вполоборота — она будто искала что-

то у стены — и снова исчезла. Через минуту появилась в полный рост, и тогда впервые за вечер стало ясно, что в квартире она одна. Он это предполагал. Парня не было видно с воскресенья, а она всегда двигалась иначе, когда знала, что одна: спокойнее, медленнее, не оглядываясь на дверь.

Женщина стояла у стены, чуть наклонившись, — тонкая фигура без тех округлостей, которые делают тело вульгарным даже с такого расстояния. Не как те, в Интернете. В ней было другое. Длинные чёрные волосы, распущенные, густые, непослушные — волосы человека, которому неважно, как он выглядит со стороны. Именно это его и держало: её полное, убедительное безразличие к тому, что кто-то может смотреть. Даже в неярком свете было заметно, что в движениях нет ни кокетства, ни позы, только усталость. Она не смотрела в сторону улицы и двигалась так, будто никакого наблюдателя не существовало. Что, в его понимании, только подтверждало: она заслуживала того, чтобы на неё смотрели.

Незнакомка сняла блузку быстро, не стягивая рукава, а сразу вывернув, как делают дети, когда им лень возиться с пуговицами, и бросила на край кровати. Осталась в бледном лифчике, который даже с расстояния в пятнадцать метров казался слишком простым для этой комнаты. Через пару секунд расстегнула лямку, чуть наклонив плечи — привычным жестом, не медленным, не для чужих глаз, а тем бездумным, каким делают то, что повторяли тысячу раз. Он видел этот жест многократно. Левая лямка всегда первой. Девушка едва не уронила лифчик, но поймала за край и тоже бросила на кровать.

Фокус чуть сдвинулся — руки у него не дрожали, но взгляд на секунду переместился влево, к стене, на фоне которой вырисовывался силуэт. Женщина стояла не совсем боком, грудь очерчивалась плоско, без тени округлости — две чёткие линии, острые, как обводка на эскизе, почти подростковые. Соски большие, тёмные, на бледной коже бросались в глаза сразу. Макияжа не было, и в тусклом свете кожа казалась прозрачной — вся она будто чужая, не предназначенная для чьих-то рук. Такие тела бывают у тех, кто не считает их чем-то ценным. Он считал иначе. Не как те, в Интернете, которые видят только формы и сразу листают дальше. Он видел то, чего не видели другие, и это давало ему право смотреть — по крайней мере, он думал именно так, и думал давно.

Мужчина наблюдал внимательно, не торопясь, и только когда женщина отвернулась, чтобы найти что-то на стуле, опустил оптику на стол. Ладони привычно отняли окуляры от лица, и наблюдатель остался у окна, не поднимая глаз. Несколько секунд ничего не происходило.

В такие минуты обычно приходит возбуждение — то, что называют желанием, когда хотят почувствовать себя живыми. Но здесь его не было. Никогда не было, и в этом, он полагал, заключалась разница между ним и остальными — теми, кто тысячами листает страницы с чужими телами на экранах, кто по вечерам включает Peephole и считает это нормальным. Он не возбуждался. Он понимал. Сердце билось ровно. За стеклом по-прежнему шёл дождь, капли бежали по раме, и на подоконнике под их тяжестью подрагивала бледная полоска света. Мужчина смотрел не наружу, а куда-то между стеклом и стеной, будто пытался вспомнить что-то или, наоборот, забыть. А в душе копилось, переполнялось, что-то, чему он не мог подобрать определения: не страсть, не злость, не тоска — что-то более тихое и необратимое, не похожее ни на одиночество, ни на желание. Скорее, привычка видеть и ничего не испытывать — привычка, которая за годы стала единственным способом быть наедине с собой. Ему просто стало мало. Смотреть стало мало.

Мужчина постоял ещё минуту, подошёл к столу, опустил в продавленное кресло и уронил пальцы на клавиатуру. Экран освещал руки так, будто они чужие. Какое-то время он не мог понять, что теперь должен делать. Всё оставалось на своих местах — рукопись на столе, аккуратные пометки на полях, красный карандаш, — только внутри что-то изменилось: маленький,

почти незаметный сдвиг — полумрак в комнате не исчез, дождь за стеклом тоже, но сам он стал другим.

Жёлтый прямоугольник окна в доме напротив дрожал за мокрым стеклом, ничего не обещая и не утешая.

Кресло скрипнуло, когда мужчина выпрямился и перевёл взгляд на монитор. В темноте экран сиял почти агрессивно: чёрное поле и неоновые-розовые полосы, подсвечивавшие логотип — глаз в замочной скважине, вглядывавшийся так, будто ему не было ни сна, ни покоя. Интерфейс Reephole наблюдатель знал — видел сотни раз в пабах, мельком, на чужих телефонах, в новостях. Чернота, вспышки розового, бегущие цифры пикового индекса по нижней кромке. Но сейчас его интересовало одно — раздел «Написать нам».

Пальцы дрогнули, когда открылась форма: чёрный фон, полоска розового, пустое поле для текста. Мужчина занёс руки над клавиатурой, но не начал сразу — будто ждал разрешения, которого никто не мог дать.

Первую фразу писал медленно, спотыкаясь, набирая буквы одну за другой. «Добрый вечер,» — пальцы замерли, потом снова задвигались. Он пытался подобрать тон: официальный или личный, деловой или что-то вроде признания. Начал с «Я хочу рассказать о ней» — потом стёр: слишком глупо. Попробовал формальнее — слова превращались в пустоту. Стирал, переписывал, снова стирал. Так он делал всё: аккуратно и терпеливо, и всегда без результата.

Рука потянулась к кружке на краю стола — холодной, с коричневым осадком на дне. Мужчина поднёс её к губам, но не сделал глотка, поставил обратно, стукнув по столешнице чуть сильнее, чем собирался, и по столу прошла тихая дрожь.

Напор мыслей иссяк. Пальцы зависли над клавишами, и на секунду он представил, каково это — оказаться по ту сторону экрана, стать точкой, через которую кто-то смотрит на мир. Ощущение мерзкое, чужое, почти тошнотворное — как увидеть себя в чужом бинокле. Но мысль промелькнула быстро, не задержавшись. Она всегда проходила быстро.

Потом набрал без пауз: «Она живёт так, как будто никто не смотрит, хотя за ней наблюдают годами». Перечитал — показалось дурацким. Провёл пальцем по тачпаду, стёр полстроки, добавил: «Меня зовут...» Нет, имя называть не стоило. Снова стёр, оставив только «я». Он не ощущал ни стыда, ни азарта — только потребность продолжать.

За стеклом зашевелились тени. Мужчина откинулся в кресле, встал и подошёл к окну. На улице всё было, как обычно: фонарь горел, по тротуару бежали редкие ручейки, а в проёме окна напротив сидела женщина с книгой. Даже в тусклом электрическом свете было видно, как она держит кружку — обеими руками прижав к груди, словно защищая от холода, который остался снаружи. Белая майка с растянутой горловиной, на плече виден след от лямки. Читала внимательно, не торопясь, переворачивала страницы, иногда поднимала взгляд, будто что-то вспоминала. Левым боком к стеклу — всегда левым, он давно это заметил — и это почему-то вызывало в нём злость, тихую и тупую, как зубная боль: всё, что видишь, никогда не станет твоим. Впрочем, злость — неточное слово. Он бы сказал: нетерпение.

Наблюдатель вернулся к ноутбуку. Набор текста шёл рывками — иногда хотелось добавить пафоса, но чем дольше он смотрел на слова, тем быстрее они обесценивались. Так у него проходили ночи: хотелось донести что-то важное, а заканчивалось всё скукой. Впрочем, он не считал себя скучным. Просто ответственным и точным, каким и положено быть человеку с его привычками.

Мужчина печатал:

«У меня к вам просьба. Не выдуманная, не ради денег.

Я слежу за ней давно. Это не просто интерес — я знаю про неё больше, чем любой её знакомый. Могу сказать, что именно она делает каждую ночь: когда читает у окна, всегда сидит левым боком. Всегда пьёт чай из белой кружки — на ней написано Keep Calm, только надпись

почти стёрлась. Держит обеими руками, иногда загибает палец под ручку, как школьница, у которой замёрзли пальцы. Эта кружка у неё дольше, чем все романы, которые она написала.

Когда дождь — всегда поправляет волосы двумя пальцами, только у левого виска. Машинально, но одинаково. Не знаю почему. Может, так удобнее.

Каждое воскресенье, почти ровно в девять, она кому-то звонит. Разговаривает долго, час или больше. Я не знаю кому — но это всегда один и тот же разговор: длинный, трудный, привычный. За это время три раза меняет позу, один раз обязательно подходит к окну и смотрит вниз. Лицо в эти моменты не отличается от обычного, но движения становятся тише, будто боится кого-то разбудить.

Когда ссорится с парнем, плачет не как все: не закрывает лицо руками, не всхлипывает в подушку. Просто сидит и смотрит в пол, а слёзы стекают по щекам. Обычно минут пятнадцать. Однажды плакала почти час, но не переставала смотреть на телефон».

На этом месте наблюдатель остановился. Слова казались слишком личными, почти бестактными, но удалять не хотелось. Никто другой не написал бы этого, потому что никто не видел, как она плачет. Он снова отодвинул руки от клавиатуры, потянулся к кружке, но и на этот раз не стал пить.

Ему хотелось добавить что-то, что объяснило бы эту его внимательность — не оправдало, а именно объяснило. И он написал, почти не задумываясь:

«Я читал её роман. Не книгу — рукопись, двести страниц, распечатку. Она лежала у меня на столе два дня, и я перечитал несколько раз, делал пометки на полях. Это не как у других. В её тексте нет фальши — она не сочиняет, а будто выговаривает себя до конца».

Наступила долгая пауза. Мужчина смотрел на текст, не двигаясь. Ему хотелось звучать возвышенно, но слова скатывались в пошлость — «не могу себя сдержать», «желаю её ночами» — он печатал и тут же стирал, не решаясь дочитать написанное. Набирал: «Она не похожа на других», «Ваша программа должна сделать про неё выпуск», «Кто-то должен показать, как она живёт, без прикрас». Эти строки ему показались чужими и были удалены почти сразу. На секунду возникло ощущение, что письмо не столько про женщину в окне напротив, сколько про него самого — про человека, который всю жизнь наблюдает, записывает и остаётся за кадром. Но эта мысль, как и все подобные, не задержалась.

Наблюдатель написал последние строки коротко, без лишних слов:

«Я не могу выразить всё это нормально. Может быть, вы сами поймёте, если посмотрите. Я просто хочу, чтобы она появилась у вас в шоу. Она заслуживает этого больше, чем кто-либо другой».

Всё было готово. Мужчина не стал перечитывать и проверять на ошибки — даже текст не выделил. Нашёл глазами розовую кнопку на краю экрана и нажал, ощущая, как внутри что-то оборвалось. Или нет. Скорее, встало на место. Автоматическое уведомление вспыхнуло сразу — на чёрном фоне большие белые буквы, которые не гасли: «Ваше письмо принято редакцией Шоу Бомбацио». За этой фразой не скрывалось ничего — никакого анализа, одобрения или отказа, просто факт, что письмо дошло.

Мужчина потянулся к биноклю, привычно поднёс окуляры к глазам. В окне напротив женщина всё ещё читала, прижимая кружку к груди обеими руками. Она не знала.

Глава 2. Невидимая

Алина проснулась без будильника — телефон, выключенный на ночь, чтобы батарея продержалась до вечера, лежал на краю стола. Преоплатный счётчик электричества под потолком мигал жёлтым: четыре фунта двадцать пенсов, и цифра эта каждое утро оказывалась меньше, чем накануне.

В квартире стояла густая, неподвижная тишина. За окном едва слышно шумела листва, из кухонной ниши тянулся ровный гул холодильника. Вытяжка в ванной уже работала — она включалась вместе со светом, наполняя тесное пространство негромким механическим дребезжанием. Потолок нависал низко, краска по углам местами пошла пузырями, а у стыка с карнизом проступили заботливо замазанные трещины. Алина быстро умылась и почистила зубы — при нынешнем балансе счётчика каждая лишняя минута освещения съедала остаток на счету, после обнуления которого квартира погрузится в темноту и холод: ни чайника, ни обогревателя, ни света.

Сквозь тонкую белую штору — хлопок из ИКЕА, так и не заменённый на что-нибудь поплотнее — в комнату лился мягкий утренний свет. Лето в этом году пришло рано, раньше, чем Кэтфорд успел к нему привыкнуть, и солнце ложилось на стены цвета магнолии, на серо-бежевый синтетический ковёр с застарелыми пятнами, на стопку блокнотов формата А5 возле ноутбука, делая всё это не уютным, а просто освещённым.

В воздухе висел знакомый запах: книжные страницы, лёгкая сырость от вытяжки, которая без вентилятора никогда не справлялась с паром из душа, и тёплый, чуть горчащий шлейф вчерашнего чая из кружки на столе. Алина села на кровати, спустив ноги на ковёр — ступни сразу почувствовали жёсткую, нагретую синтетику. Тонкое серое постельное бельё от Primark сбилось в сторону, двуспальная кровать, придвинутая вплотную к стене, не оставляла пространства даже для того, чтобы повернуться.

Чайник Russell Hobbs щёлкнул, и через минуту кухонная ниша наполнилась паром от кипящей воды. Белый пластик покрылся известковым налётом изнутри — она видела это каждый раз, поднимая крышку, и каждый раз думала, что надо бы его почистить, и каждый раз забывала. Рядом с раковиной на крючке висела кружка с надписью *Keep Calm and Carry On*, красные буквы на белом фоне, подарок от Морин из книжного. Каждое утро один и тот же жест — обхватить чашку обеими ладонями, сжать пальцами, ожидая, пока тепло проникнет в кожу. Йоркширский чай, дешёвый и резковатый, с горчинкой, которая на рассвете казалась почти приятной.

Алина встала у окна с кружкой в руках, привалившись плечом к откосу — так же, как стояла каждый вечер с книгой, только сейчас вместо страниц перед ней лежала Доггетт-роуд. Узкая улица с односторонним движением, тёмно-красные кирпичные фасады с викторианскими террасами, побуревшие за столетие от лондонских дождей и дизельных выхлопов. Напротив — дом сорок два, такой же, как все соседние, с белыми рамами окон, у одних покрашенными, у других облупившимися до голой серой древесины. Утреннее солнце грело асфальт, и от него поднималась лёгкая дымка, пахнувшая пылью и нагретым кирпичом. Платаны вдоль тротуара бросали пятнистые тени, их узловатые корни местами приподняли плиты — опасность перецепиться для каждого, кто торопится.

На полке ИКЕА Billy — чуть накренившейся влево, потому что вешала её сама, и с тех пор она так и висела неровно — теснились Толкин, Ле Гуин, Робин Хобб и Сандерсон в мягких обложках. Ниже, тяжелее и теснее, стояли Стругацкие и Булгаков в твёрдых переплётках, а между ними — тонкий томик Цветаевой, мамин подарок, который Алина почти не открывала, но никогда не убирала с полки. Справа от ноутбука лежала зачитанная «Левая рука тьмы» — страницы начали рваться на сгибах, и за последние дни она не раз ловила себя на том, что

перечитывает одни и те же абзацы, забывая, где остановилась, будто книга стала не чтением, а способом не думать.

ThinkPad с треснувшим углом крышки она убрала в сумку вместе с пауэрбанком, парой ручек и пластиковым контейнером с ломтиком пирога оставшимся с вечера. На работу собралась без спешки, как и полагается тёплым утром: лёгкая хлопковая футболка с полустёртым принтом, поверх — невесомая джинсовая куртка, шорты чуть светлее песка и открытые сандалии, чтобы ноги не потели на остановке. Кожаная куртка осталась на крючке у двери, тяжёлые ботинки — под кроватью, и без их тяжести Алина чувствовала себя чуть легче, чем хотела бы, точно с одеждой сняла и часть той брони, к которой привыкла за годы. Волосы она собрала в небрежный хвост, чтобы не лезли в лицо на жару. Макияж не понадобился — резкие, угловатые черты, высокие скулы и чуть покрасневшие от света щёки не требовали поправок.

Лестница встретила её скрипом и полутьмой. Энергосберегающая лампочка на площадке загоралась только через полминуты, и первый пролёт Алина прошла почти наощупь, ведя ладонью по деревянным перилам, отполированным годами прикосновений чужих рук. В подъезде пахло сырой штукатуркой, старым ковром и жареной рыбой из квартиры А — сосед на первом этаже готовил её в любое время суток, и запах этот пропитал коридор так глубоко, что, казалось, стал частью стен. Латунная цифра «37» на входной двери висела немного наискось, а тёмно-синяя краска внизу облупилась, обнажив серое, размягчённое от влаги дерево.

Догтетт-роуд уже дышала теплом. Асфальт, казалось, мягко пружинил под открытыми сандалиями: непривычное ощущение — горячий камень почти вплотную к коже, без толстой подошвы, без шнуровки, без той устойчивости, которую давали ботинки. Припаркованные вдоль тротуара старые «Воксхоллы» и «Форды», бывшие «Приусы» Uber с облупившейся виниловой плёнкой по углам стояли впритирку к бордюру. В палисаднике соседнего дома, рядом с чахлым розовым кустом, зеленел мусорный бак, а чуть дальше кто-то прислонил к забору матрас, который так и не забрали. Кованые ворота скрипнули за спиной долгим ржавым звуком, разлетевшимся по всей улице — утром здесь было тихо настолько, что любой шаг отзывался эхом среди кирпичных стен.

До остановки на Кэтфорд-Бродвей Алина дошла за несколько минут. Гигантский пластиковый кот с жёлтыми глазами у входа в торговый центр смотрел на прохожих тем же безразличным взглядом, что и вчера, и год назад, и, вероятно, задолго до того, как она поселилась в этом районе. Мимо проплыли витрины Morley's и Dixy Chicken, неоновые вывески бледнели на солнце, но тяжёлый жирный запах фритюра уже стоял в воздухе, впитываясь в одежду и волосы. Рядом — букмекерская контора с мерцающими экранами за стеклом, благотворительный Oxfam, из дверей которого тянуло нафталином и старой тканью.

Табло на остановке не работало, но расписание сорок седьмого маршрута Алина знала наизусть. Через несколько минут из-за поворота показался красный силуэт двухэтажного автобуса, раздался глухой скрежет тормозов, двери распахнулись. Она приложила Oyster к жёлтому считывателю и поднялась в салон.

Внутри было душно. Обивка сидений пахла так, как пахнет любой лондонский автобус летом, — пылью, нагретым пластиком и чем-то неуловимо кислым, въевшимся в ткань навсегда. Алина устроилась у окна в дальнем углу, где обычно никто не садился, достала книгу, но не открыла. Улица за стеклом размывалась от жары, контуры домов подрагивали, словно кто-то растущевал их пальцем.

Из окна всё выглядело одинаково: летний пригород Лондона, неизменный, даже когда жара меняла его оттенки. Тёмно-красные кирпичные фасады, тонкие шторы в окнах, выцветшие палисадники, где среди бирючины застревают занесённые ветром пластиковые пакеты. Редкие прохожие в лёгкой одежде либо не замечали друг друга, либо нарочно отворачивались — утренний ритуал взаимного несуществования.

Маршрут запоминался не остановками, а ощущениями: где-то тянуло свежей выпечкой из булочной, где-то в открытое окно врывался горячий ветер с привкусом бензина. В эти минуты Алина почти не смотрела наружу, хотя взгляд был устремлён за окно, она будто проваливалась внутрь себя, как бывает у тех, кто слишком долго повторяет один и тот же путь, — и путь перестаёт быть дорогой, становясь лишь промежутком между одним молчанием и другим.

Воспоминания накатывали не в хронологическом порядке, а разрозненными картинками — как всегда. Сначала — Хитроу. Ей четырнадцать, тяжёлые ботинки, неудобные джинсы и ноющие от бесконечного стояния в очереди колени. Мать держит за локоть, будто всё ещё боится потерять её в толпе, а отец молчит, сжимая ручки двух чемоданов, и не смотрит ни на дочь, ни на жену — только вперёд, в точку, где паспортный контроль обещает превратить бегство в прибытие.

Пахнет пластиком, кофе и чужой усталостью. Офицер за стеклом долго разглядывает российские паспорта с двуглавым орлом, уже обтрёпанные за месяцы ожидания, трижды пытается произнести их фамилию, каждый раз сбивается и молча ставит штамп.

Потом — общежитие в Хаунслоу. Первый год, когда неуютно было даже под одеялом, потому что из общей кухни тянуло чужим подгорелым маслом, а за стеной каждую ночь кто-то хлопал дверью. Алина лежала на узкой кровати и шёпотом повторяла английские слова — сначала по учебнику, потом всё подряд, что слышала от соседей, потому что только так можно было заставить язык подчиниться, чтобы стать не гостем, а жителем в этом неприветливом мире. Акцент уходил медленно, с боем, и каждое «th» давалось, как скрежет по стеклу.

Между тем в автобусе стало теснее. Рядом сел мужчина в расстёгнутой рубашке — из тех, кто по утрам не говорит ни слова и смотрит в телефон, как в единственное окно, которое ещё показывает что-то стоящее. За стеклом мелькали уже другие дома: ближе к Льюишму появились двухэтажки с ровными палисадниками и стеклянными дверями, но даже там ничего не менялось по существу — пустые лавки и закрытые жалюзи магазинов, которые никто не собирался открывать до полудня.

Алина когда-то думала, что к такому приглушённому существованию невозможно привыкнуть. Но теперь знала: всё, что кажется серым, очень быстро становится своим — просто потому, что ничем другим быть не может.

Родители жили в Бирмингеме. Свой дом, аккуратный сад, серебристый Vauxhall Astra на подъездной дорожке. По воскресеньям Алина звонила: час разговора, всегда в одно и то же время, чтобы не сбить ритм недели. Мать сразу спрашивала про работу, потом — про «этого Дмитрия», а когда дочь отвечала «всё нормально», тема исчезала сама, повисая тем молчанием, которое в их семье заменяло понимание. Отец на заднем плане шуршал страницами газеты — не потому что читал, а потому что молчать без дела не умел, а воскресная газета была подобием важного дела. Подробностей они не требовали, словно боялись услышать то, что нарушит их спокойное существование и чего не получится забыть.

В Бирмингеме у них была своя жизнь: гречка, борщ, русский магазин на Слейд-роуд, церковные знакомства и группы WhatsApp, где новости из общины разносились быстрее любого канала. В такие минуты Алина не знала, чего в ней больше — уважения к ним или жалости.

Автобус затормозил на Льюишем-Хай-стрит. Пассажиры у выхода поднялись неохотно — не потому что удобно устроились, а потому что снаружи пекло. Алина проверила сумку, телефон, ключи — всегда делала это аккуратно, точно боялась стать кому-то заметной одним неловким жестом.

У выхода из автобуса пахло разогретым асфальтом. Она шагнула вниз, и солнце сразу ударило в плечи. Двери сложились за спиной с глухим шипением, даблдекер уполз дальше, оставив после себя душную волну выхлопа.

Льюишем-Хай-стрит в утренние часы выглядела так, как выглядит всегда: Primark с выцветшими плакатами, Poundland, McDonald's, десятки мелких независимых магазинов вдоль

длинного пешеходного коридора. Курильщики у дверей шурились от солнца, хозяева выставляли картонные ящики на тротуар. Пятна от жвачки на раскалённом тротуаре, чья-то брошенная бутылка из-под Lucozade у стены. Во всём этом была здешняя английская неторопливость, которую жара делала ещё более вялой.

Owl & Crescent Books располагался между благотворительным Cancer Research и турецкой парикмахерской — узкий фасад с деревянной вывеской, на которой золотые буквы «Owl & Crescent Books — est. 1987» местами облупились до тёмного дерева. В единственной витрине лежали книги с рукописными рекомендательными карточками, а у двери — столик со скидками: стопки по фунту, по два и по три, подписанные почерком Морин.

Латунный колокольчик над дверью не звонил, а дребезжал — тревожно и виновато, как будто извинялся за каждого входящего. Внутри, после яркого утра, было сумрачно. Тонкие полосы света из единственного высокого окна ложились на тёмный деревянный пол, отполированный до гладкости по дорожке между дверью и прилавком, а всё остальное терялось в мягкой желтизне настольных ламп на стеллажах. На задней стене тикали часы. Уличный шум с Хай-стрит проникал сквозь витринное стекло: автобусы, рыночные торговцы, отдалённый стук автоматической двери в Primark.

Запах здесь стоял многослойный и неизменный: старая бумага, засохший переплётный клей и тонкий, чуть подгоревший аромат Nescafé из автомата в углу, где стояли порционные капсулы молока — никогда не свежего. В тёплые дни к этому примешивался сухой, пыльный дух нагретых корешков, а в дождливые — запах мокрой одежды тех, кто забежал укрыться с улицы.

Морин сидела в потёртом кресле за полкой с краеведческими изданиями, наполовину скрытая от входа. Очки на кончике носа, чашка чая и Daily Telegraph под рукой — каждое утро начиналось с изучения колонок с объявлениями, дежурных жалоб и обязательного сканирования некрологов, в которых хозяйка магазина иногда находила имена бывших покупателей. Морин владела Owl & Crescent с восемьдесят седьмого года, давно не интересовалась продажами и не рассчитывала на прибыль. Магазин для неё был не бизнесом, а местом, куда она приходила каждый день.

Алина заняла своё место за кассовым аппаратом — старым, механическим, рядом с которым на куске сложенного картона стоял считыватель SumUp. Руки легли на прилавок с той машинальной лёгкостью, которая бывает у людей, давно не замечающих ритма монотонной работы. За утро она уже перебрала сдачу в кассе, протёрла столешницу и расставила книги на полках, подгадывая, что будут спрашивать. У секции научной фантастики и фэнтези — самой маленькой, зажатой в левом заднем углу — задержалась на секунду дольше, как обычно, но не позволила себе остановиться. Эти полки были её территорией: она расставляла их, знала каждый том, и именно поэтому проходила мимо, едва касаясь корешков взглядом. Всё слишком своё — значит, хрупкое.

К полудню небо за витриной потемнело — по-английски быстро, без предупреждения, словно кто-то задёрнул штору. Первые капли ударили по стеклу, и через минуту Хай-стрит уже блестела от воды, а через дверь доносился равномерный шум дождевых струй. Лондонское лето сделало то, что умеет лучше всего: пообещало утром одно, а к обеду передумало.

Первый покупатель во время дождя появился ближе к одиннадцати. Мужчина средних лет, с влажными пятнами на рубашке, вошёл, огляделся и, вытерев ладонью мокрый лоб, направился к кассе.

— Доброе утро, — сказал он рассеянно.

Алина кивнула. Мужчина искал фэнтези «не для подростков». Она сняла с полки потрёпанный том и положила на прилавок.

— Фантастический мир подробно проработан, героиня нетипична, есть резкие сцены. Финал становится понятным, только если вспомнить первую главу, — она помолчала и добавила: — Я читала её три раза.

Мужчина взял книгу, перевернул, пробежал глазами аннотацию и, кажется, не заинтересовался. Алина убрала том и достала новое издание с глянцевого обложкой.

— Здесь всё проще. Сюжет стандартный, герои предсказуемы. Эту книгу часто берут в подарок.

Покупатель молча выбрал из предложенного второе, приложил карту к считывателю и вышел, оставив после себя дребезжание колокольчика и влажный след подошвы на тёмном полу.

Морин не подняла головы. Аккуратно перевернула страницу газеты, отметив пальцем заголовок.

— Летние дожди никак не отступят, — пробормотала хозяйка в сторону, не ожидая ответа.

— Может, к вечеру распогодится, — отозвалась Алина, не оборачиваясь.

В магазине воцарилась тишина. За окном дождь продолжал шуршать по асфальту, а между стеллажами потянуло сквозняком. Алина прошла мимо полки с фэнтези — взгляд зацепился за знакомые переплёт, но она не остановилась, только чуть коснулась пальцем пыльного корешка и двинулась дальше.

Касса щёлкала отчётливо — старый механизм отмерял день собственным ритмом. На прилавке скопились обрывки чеков и пара забытых монет.

Покупателей было немного — обычный будний поток для Льюишема. Небритый мужчина в расстёгнутой куртке попросил «что-нибудь новенькое по космосу» — Алина достала свежий роман, ещё пахнувший типографской краской, коротко пересказала завязку. Он купил, поправил ремень сумки и вышел. Колокольчик звякнул ему вслед.

Морин сдвинула газету, подняла чашку, не глядя на Алину.

— Когда на перерыв?

— Попозже, если удобно.

— Там торт в холодильнике, — буркнула хозяйка так, будто от неё требовали отчёта за чужие калории.

Дождь за окном усилился. Тёмный деревянный пол поскрипывал под ногами, часы на задней стене отмечали время глухими щелчками, а между стеллажами тянулся сквозняк, принося с улицы сырую прохладу. В магазине стоял тот особенный покой, который бывает только в местах, давно переставших бороться за внимание, — здесь не нужно было ни суетиться, привлекая внимание покупателей, ни оправдываться за тишину.

Ближе к закрытию вошла женщина с холщовой сумкой, из которой торчал лук-порей.

— Мне бы что-то не слишком тяжёлое на выходные.

Алина выложила на прилавок тонкий томик женского романа.

— Пара вечеров — и всё.

— Спасибо, — кивнула женщина, глядя чуть в сторону.

Дверь захлопнулась, колокольчик отозвался в пустоту. Алина задержалась взглядом на своём отражении в витринном стекле — угловатое лицо, высокие скулы, тяжёлый взгляд зелёных глаз. Ничего такого, на чём останавливается чужой взор, — так ей казалось.

Она вернулась за кассу, провела рукой по клавишам, проверила мелочь. Морин за краеведческой полкой шуршала последними страницами Daily Telegraph. В очередной раз проходя между стеллажей, Алина снова задержалась у секции фэнтези — на полсекунды дольше, чем обычно, пальцы почти коснулись того самого корешка. Потом опустила руку и пошла дальше.

В Owl & Crescent всё оставалось при своём.

К вечеру жара спала, но Доггетт-роуд ещё отдавала дневное тепло, которое ощущалось сквозь тонкие подошвы сандалий. В подъезде стоял тот же запах — за день не изменившийся

ни на полтона, всё тот же, что и утром, когда она сбегала вниз через ступеньку, торопясь на сорок седьмой маршрут.

Квартира за день настоялась духотой. Счётчик в коридоре просел до трёх фунтов — утренний чайник, свет и вытяжка в ванной забрали своё. Алина скинула сандалии у коврика и прошла на кухню, не зажигая верхний свет. Есть не хотелось. Хотелось только чая — крепкого, горьковатого, чтобы заполнить квартиру каким-нибудь живым запахом.

Чайник вскипел. Алина заварила чай и взяла кружку — тем же жестом, что и утром, только теперь не для того, чтобы начать день, а чтобы от него отгородиться.

Она достала из сумки ноутбук, поставила на стол среди блокнотов и кольцевых следов от предыдущих чашек. Коснулась тачпада — экран ожил, и на мгновение ничего, кроме голубоватого света, не существовало: ни духоты, ни звуков из-за стены. Алина села, подтянув ноги, и окинула взглядом рабочий стол.

Папка с романом стояла первой слева. «Novel_Final», двадцать скачиваний за полгода. Она пересчитывала их иногда — как пересчитывают мелочь в кошельке, не потому что ждала новых, а потому что хотела убедиться, что старые не исчезли.

Файл она не открыла. Щёлкнула на закладку Peephole — движением, не требовавшим ни набора букв, ни раздумий. Чёрный экран, неоновое-розовая заливка, стилизованный глаз в замочной скважине — напоминание о том, что продаёт платформа, вшитое в каждый пиксель интерфейса. Звук включился сам: низкий, густой, из тех басов, которые ощущаешь грудной клеткой раньше, чем ушами.

Шоу Бомбацио шло третий сезон, и к этому моменту его смотрели все — не все признавались, но смотрели. Как Алина. С лёгким отвращением, с виноватым интересом, с тем чувством, которое заставляет замедлить шаг у места аварии — не из сострадания, а из потребности увидеть, что случилось с чужим телом. Платформа работала круглосуточно, и в любой час где-нибудь в Англии кто-то открывал ноутбук дома или в офисе, а кто-то — приложение в телефоне в пабах, в метро, в очереди за кофе. В углу экрана пульсировал Peak Index, мигая розовым, как рана, которая не затягивается. В боковой панели — ставки, коэффициенты, имена людей, на чьи жизни другие ставили деньги.

Голос ведущего возник без предупреждения — глубокий баритон с лёгкой хрипотцой, отточенный двумя десятилетиями эфира. Бомбацио стоял на круглой сцене один, в тёмно-синем костюме, с планшетом в руках, и улыбался так, что зубы — белые, ровные, чуть крупноватые — заполняли всё лицо. Маленькие карие глаза работали отдельно от рта, считывая что-то невидимое за пределами камеры. Янтарный свет прожекторов лился на него одного, остальная студия тонула в темноте, и двести зрителей в амфитеатре казались не публикой, а тенями.

— Сегодня мы завершаем этот сезон, дорогие мои, — произнёс он, и слово «мы» прозвучало так, словно каждый зритель стоял с ним рядом на сцене. — Если вы с нами с самого начала, вы знаете: наши финалы всегда особенные.

На экране сменилась картинка — нарезка из последних недель. Городок, отмытый до открыточного блеска, камеры в коридорах и спальнях, где никто давно не пытался спрятаться. Женщина умывалась перед зеркалом, не поднимая глаз. Другая лежала лицом в подушку и не шевелилась. Мужчины разговаривали на кухне, но взгляды соскальзывали к объективу — привычка, вьёвшаяся за недели под наблюдением. Иногда в звуковом фоне слышался стон — от боли или от удовольствия — не разобрать, и даже на экране это не вызывало ничего, кроме узнавания: часть знакомого шума. График Peak Index поднимался и опадал в такт возбуждению на экране. Коэффициенты ставок вспыхивали розовым. В нарезке не было ничего откровенного, но каждый кадр ощущался как подглядывание — и двадцать миллионов подписчиков платили девять девяносто девять в месяц именно за это ощущение.

Алина сидела, обхватив ладонями остывающую кружку, и смотрела. Думала о том, что женщина на экране тоже когда-то жила в маленькой квартире, ставила чайник и не знала, что

кто-то наблюдает. А потом — городок, камеры, браслет, который превращает оргазм в цифру, цифру — в ставку, ставку — в деньги. Думала — и не выключала. Потому что в этом было что-то, обещавшее: с тобой такого не случится. Ты смотришь — значит, ты в безопасности. Жертвы — на экране. Ты — по эту сторону.

Бомбацио перехватил монтаж голосом — мягким, обволакивающим, с той теплотой, которая пахла антисептиком: сладкая, стерильная, не оставляющая следов.

— Это — настоящая жизнь, друзья мои. Не подделка, не фильтр. Вы видите всё, как оно есть. И вы — не наблюдатели. Вы — часть этого.

Чай давно остыл, но Алина продолжала держать кружку — фарфор уже не грел, однако без этой тяжести в ладонях всё остальное теряло опору. Она сидела на кровати, подтянув колени к груди, и экранный свет ноутбука ложился на голые щиколотки голубоватым пятном.

Бомбацио вернулся на экран крупным планом. Свет от мониторов за спиной размывал лицо, но зубы никуда не делись — белые, ровные, не покидавшие экран ни на секунду.

— В финале мы по традиции читаем письмо, которое, по мнению нашей редакции, лучше всего отражает дух шоу, — он сделал паузу, точно рассчитанную: ровно столько молчания, чтобы зал подался к экранам. — Сегодня — письмо от человека, который наблюдал долго. Очень долго. И то, что он видел, достойно того, чтобы увидели все вы.

Ведущий опустил глаза к планшету. Голос стал тише, интимнее — словно он делился секретом с каждым из двадцати миллионов зрителей.

— «Я слежу за ней давно. Это не просто интерес — я знаю о ней больше, чем любой из тех, кого она подпускает близко».

Алина потянулась за глотком чая. Что-то в интонации царапнуло — не мысль ещё, скорее, ощущение, как мелодия, которую слышал давно и не можешь вспомнить откуда.

— «Когда она читает у окна, садится всегда одинаково — левым боком к раме. Даже летом пьёт чай из белой кружки с красной надписью, которую держит обеими руками, иногда загибает палец под ручку — как школьница, у которой замёрзли пальцы».

Алина моргнула. Посмотрела вниз — на собственные ладони, на красные буквы между ними, на загнутый палец под ручкой. Точно так. Именно так она держала кружку прямо сейчас.

— «Она поправляет волосы двумя пальцами, всегда у левого виска, особенно после дождя. Машинально, каждый раз одинаково».

Левая рука дёрнулась к виску — и замерла на полпути, потому что тело узнало жест раньше, чем голова поняла, откуда его знают.

— «Звонит матери по воскресеньям. Ровно в девять. Говорит по-русски, быстро, иногда смеётся. Три раза в течение разговора меняет позу, один раз обязательно подходит к подоконнику и смотрит вниз. Движения становятся тише, словно она боится кого-то разбудить».

Подоконник, тонкая штора, которую она так и не сменила на плотную, лампа, рисующая силуэт на белом хлопке каждый вечер. Алина вдруг увидела собственное окно снаружи — глазами того, кто стоит в темноте по ту сторону Доггетт-роуд, — и по спине прошёл озноб, физический, словно от сквозняка, которого не было.

— «Когда она ссорится с парнем — просто садится и смотрит в пол. Слёзы стекают по щекам. Никогда не закрывает лицо руками. Просто сидит и плачет. Я знаю, потому что вижу это каждый раз».

Каждый раз... Она плакала в этой комнате, на этой кровати, считая себя в уединении, невидимой никому, — а за дорогой, за тёмным окном, кто-то стоял и запоминал. Все вечера, которые были только её, — ссоры с Дмитрием, тишина после, слёзы без звука — оказались отслежены чужими глазами, записаны аккуратно, деталь за деталью, точно в лабораторном журнале.

В студии стало тихо. Двести зрителей на ярусах амфитеатра молчали. Бомбацио поднял глаза от планшета и медленно обвёл взглядом зал — так смотрят те, кто знает, что следующая фраза изменит всё.

— «Я читал её роман. Не электронную книгу — рукопись, распечатку. Она лежала у меня на столе два дня. Перечитал несколько раз, сделал пометки на полях. В её тексте нет фальши. Она не сочиняет — выговаривает себя до конца».

Распечатку!.. Кто-то напечатал её роман, сел через дорогу и водил ручкой по полям — роман, который она считала невидимым, забытым, не существующим ни для кого. Двадцать скачиваний на Kindle — и одна распечатка с пометками, о которой Алина не знала.

Ведущий посмотрел прямо в камеру — и ей показалось, что он смотрит сквозь экран, сквозь стены, через весь Кэтфорд, прямо в её окно.

— Редакция провела небольшую проверку, — произнёс он почти нежно. — И мы знаем, кто она.

Он выдержал паузу, и зубы снова заполнили экран.

— Алина Крылова! Двадцать три года. Приехала из России подростком. Живёт на Доггетт-роуд. Работает в книжном магазине.

Голос стал совсем тихим, а взгляд снова устремился в камеру — прямо в эту комнату, на Алину.

— Если ты нас сейчас смотришь — а мы знаем, что смотришь, — мы очень хотим с тобой познакомиться.

Кружка качнулась в ослабевших руках, выскользнула и разбилась о пол — глухо, коротко, без того звона, которого ждёшь от бьющейся посуды. Красные осколки букв рассыпались по серому ворсу ковра. Чай растёкся тёмным пятном, впитываясь в синтетику.

Глава 3. Контракт

День не торопился начинаться. Свет за тонкой хлопковой шторой стоял серый, невнятный — не утренний и не ночной, а промежуточный, какой часто бывает в Кэтфорде, когда небо не может решить, идти ли дождю или просто висеть над крышами мелкой, ни к чему не обязывающей влагой. В квартире пахло сыростью, которая пропитывает викторианские дома от фундамента до чердака и не выветривается ни в какое время года. Холодильник в кухонной нише гудел ровно, монотонно, как единственное живое существо, которому было всё равно, что произошло накануне.

Разбитая кружка по-прежнему лежала на серо-бежевом ковре у стола. Чай высох, оставив тёмный контур на синтетическом ворсе, и часть красных букв виднелась на крупном куске белого фарфора — Кеер Calm, — а дальше обрывалась, распавшись на более мелкие осколки. Алина их не убирала. Не потому что забыла — просто каждый раз, когда взгляд наткнулся на разбитую кружку, что-то внутри отказывалось признать её мусором. Она была подарком Морин. А ещё она была последним предметом, который Алина держала в руках, пока голос с экрана ещё принадлежал чужой истории.

Молчаливый телефон лежал на диване экраном вниз. Утром Алина позвонила в книжный и сказала Морин, что заболела, — голосом, который не нужно было подделывать. Морин ответила коротко: «Поправляйся, дорогая», — и повесила трубку, не задав ни одного вопроса, как не задавала их никогда, потому что в Owl & Crescent болезнь и исчезновение считались одним и тем же неотъемлемым правом личности. Где-то в Льюишеме, за полками с Толкином и Ле Гуин, день шёл без неё — чековая лента в кассе заканчивалась, латунный колокольчик над дверью позвякивал в пустоту, — и от этого было не легче, а тягостней, словно та жизнь уже отступила на расстояние, с которого не дотянуться.

Алина стояла босиком у кухонной ниши, прислонившись бедром к столешнице. Ковёр был холодным, и этот холод казался новым, чужим, хотя она ходила по нему каждое утро уже третий год. Чайник Russell Hobbs стоял на месте, белый, с серым налётом накипи на стенках, но она не включала его. Не клала пакетик в кружку — кружки не было. Не подносила ладони к горячему фарфору, грея их. Сама привычная последовательность утра рассыпалась вместе с красными буквами, продолжающими лежать на полу, и в образовавшейся пустоте Алина не знала, куда себя деть, — как после долгой болезни, когда мышцы помнят движения, но не помнят зачем.

Взгляд возвращался к окну. Тонкая штора не закрывала ничего — через неё просвечивала Доггетт-роуд, припаркованные машины вдоль тротуара, тёмно-красный кирпич дома напротив, на котором висела табличка с номером сорок два. Ещё вчера это был просто дом через дорогу, одно из тридцати с лишним одинаковых зданий, мимо которых проходишь не глядя. Сейчас Алина стояла и смотрела на его окна с тем неподвижным, тяжёлым вниманием, с каким смотрят на закрытую дверь, за которой кто-то есть. Стекло возвращало ей собственное отражение: впавшие щёки, тёмные круги под глазами, волосы стянуты в небрежный узел — лицо без привычной брони, без утреннего ритуала, который сделал бы его нейтральным. Лицо человека, которого вчера вечером раздели перед двадцатью миллионами зрителей, не прикоснувшись к нему ни разу.

На лестнице раздались шаги.

Алина услышала их раньше стука — тяжёлые, с протяжным скрипом деревянных ступеней, которые отзывались на каждый шаг, как больной сустав. Шли двое. Первый — неторопливо, ровно, с уверенностью человека, которому некуда спешить. Второй — коротко и ритмично, не задерживаясь ни на одной ступени. Энергосберегающая лампочка на площадке наверняка ещё не загорелась — она разгоралась тридцать секунд, — и они поднимались почти

в темноте, сквозь запах сырой штукатурки и жареной рыбы из квартиры А, мимо влажного пузыря на потолке, мимо почтовых ящиков с отломанной дверцей. Они шли по её лестнице так, будто проходили по ней не впервые, и что-то в этой лёгкости было хуже любой угрозы.

Три удара в дверь. Не звонок — домофон в квартире В срабатывал через раз, и они это знали, — а именно стук, деловой, троекратный, стук тех, кто рассчитывает застать тебя дома, потому что знает: идти тебе некуда. Алина замерла у столешницы. Стук повторился — уже громче.

Она подошла к двери и взялась за ручку. Металл был холодным. За дверью — негромкий шелест ткани и спокойный, уверенный вдох, какой слышишь от того, кто привык начинать разговор без разогрева.

Алина открыла.

В дверном проёме стояла женщина лет сорока, невысокая, в приталенном костюме мягкого, приглушённого тона — из тех, что не бросаются в глаза и при этом стоят больше, чем месячная аренда этой квартиры. Волосы уложены аккуратно, но без жёсткости, лицо открытое, располагающее, с глазами, которые удерживали зрительный контакт ровно столько, чтобы казалось — она на твоей стороне. Улыбка не выглядела формальной — она выглядела так, будто управляла температурой в комнате, делая воздух вокруг себя на полградуса теплее. За ней, чуть позади, стоял мужчина — высокий, худой или, скорее, поджарый, из тех, кто забывает поесть, когда горит дедлайн. Лет пятьдесят, короткие седые волосы, очки в тонкой проводочной оправе. Лицо не выражало ничего, кроме привычного лёгкого нетерпения — он словно жил на две минуты впереди всего, что его окружало.

— Виктория Шоу, — сказала женщина голосом, который был ровным и почти домашним, как будто она называла не должность, а причину, по которой зашла в гости к соседке. — Продюсер Шоу Бомбацио.

Ответа она не ждала. Шагнула в прихожую, сняла пальто и, не оглядываясь, повесила его на крючок у двери — на тот самый крючок, где раньше висела кружка Keer Calm, пока Морин не перевесила её над кухонной нишей. Пальцы мягко провели по шероховатой подкладке. Потом продюсер повернулась к Алине и слегка кивнула — не вежливо, а так, как ставят точку перед тем, как начать говорить по-настоящему.

Мужчина вошёл следом, уже доставая телефон.

— Малкольм Прайс, — бросил он небрежно.

Взгляд за стёклами очков обежал комнату: продавленное кресло у окна, стопку блокнотов под столом, ThinkPad с треснувшим углом, пятно от чая на ковре, разбитую чашку с красными буквами у ножки стола. Он отметил всё это так, как отмечают дефекты в арендованном помещении — без осуждения, без сочувствия, просто фиксируя одно за другим. Не разуваясь, прошёл к окну, положил пластиковую папку на край стола рядом с ноутбуком и набрал номер, деликатно отвернувшись к стеклу, — и сразу заговорил: ни одной интонации, ни одного лишнего слова, только ровный, глухой поток цифр, пунктов и пауз, которые больше всего напоминали работу счётной машины, переводящей человеческую жизнь в строки договора.

Виктория Шоу тем временем миновала крохотный коридор и оказалась на кухне. Двигалась она легко, неторопливо, ни на секунду не теряя ощущения, что всё вокруг ей уже знакомо, — и в этой неторопливости было что-то давящее, чего Алина не сумела бы назвать, но чувствовала кожей. Продюсер быстро оглядела полку, нашла пачку Yorkshire Tea, взяла чайник, наполнила водой и щёлкнула кнопкой, не спросив разрешения.

Чужая кухня её не смущала, наоборот — вызывала ту особую энергию, которая появляется, когда привыкаешь располагаться в чужих домах, как в собственных.

— Я сделаю нам чай, — проговорила она, обернувшись, и улыбнулась так, будто этим жестом намеревалась объяснить всё происходящее.

Чайник зашумел, наполняя двадцать пять квадратных метров единственным тёплым звуком. Виктория нашла две кружки в сушилке над раковиной — белую и вторую, с полустёртым логотипом Costa Coffee, когда-то оранжевым, теперь почти прозрачным. Сахар поставила на стол, не добавив ни в одну чашку, — жест, рассчитанный не на вкус, а на то, чтобы хозяйка не почувствовала себя обойдённой в собственном доме.

Продюсер села напротив Алины за узкий кухонный стол и поставила перед ней кружку с Costa Coffee, а белую взяла себе. Чай внутри был бледным, заваренным скорее не для вкуса, а для того, чтобы занять чашкой руки, пока беседа набирает обороты. Алина коснулась ладонями фарфора, но не ощутила ни тепла, ни текстуры, — руки были чужими, как и всё остальное этим утром, которое больше не принадлежало ей.

Несколько секунд они молчали. Затем гостя отпила чай, едва заметно сморщившись, и тут же улыбнулась, словно желая загладить промашку.

— Я рада, что мы не застали тебя врасплох, — сказала она, не отводя взгляда. Голос был низким и спокойным, неторопливым даже сейчас — голос, за которым самые скверные новости звучат мягко, почти по-домашнему. — Начну с главного. Ты уже в шоу, Алина. Просто пока без гонорара и без права голоса. Письмо прочитано вчера вечером. Тебя уже знает вся страна.

Она сделала паузу — короткую, рассчитанную, достаточную, чтобы слова осели, а у собеседника пропало ощущение, что возражать ещё можно. Потом продолжила тем же ровным тоном, не повышая и не понижая, с той же заботливостью, с какой медсестра объясняет, куда идти на процедуру:

— Тридцать дней в закрытом городке. Камеры везде — в спальне, в душе, на улице. Прямой эфир, без монтажа. Семь участников-мужчин. У каждого на запястье браслет, который считывает пульс, температуру, потоотделение — в реальном времени. Зрители видят всё. Победитель — тот, с кем ты достигнешь десяти и более оргазмов за один контакт. Браслет фиксирует сам, обмануть его невозможно.

Продюсер чуть повернула чашку на столе — точным, привычным движением, каким поправляют чужую вещь, когда любое пространство давно ощущается своим.

— Ты сама решаешь, с кем и когда. Или ни с кем. Миллион твой в любом случае. Победитель тоже получает миллион, — она чуть наклонила голову, проверяя, всё ли дошло. — Мы в этом вместе, ты и я. Но это не переговоры, Алина. Это условия.

Последнее слово повисло между ними. Алина слышала каждую фразу, но ни одна не задела сознание — они проходили мимо, оседая где-то в теле, ниже рёбер, тяжестью, которую она пока не умела назвать и не знала, куда деть.

Виктория скользнула глазами по Алине, потом обвела взглядом убогую обстановку студии. Ничего не сказала, но что-то едва заметно сместилось в её лице — так сужаются зрачки, когда замечаешь чужую слабость и молча решаешь её запомнить.

— Я понимаю, как это звучит, — голос стал ещё тише, Виктория опустила локти на стол, сократив расстояние между ними до интимного, и Алина поймала себя на том, что подалась навстречу, хотя не хотела. — Но ты ведь сама видела, как это работает. Вчера твой роман был на Amazon — двадцать скачиваний, тишина. С сегодняшнего утра — восемьдесят пять. И это только начало. Я уже говорила с нашим издательским партнёром: они готовы напечатать тираж в твёрдой обложке. Говорят, уйдёт с полок в первую неделю.

Двадцать скачиваний. Алина знала эту цифру наизусть — пересчитывала иногда, не потому что ждала новых, а потому что хотела убедиться, что старые не исчезли. И вот эта женщина в костюме за тысячу фунтов произносит её вслух, за кухонным столом с двумя кружками бледного чая. Произносит спокойно, участливо, безошибочно находя больное место и надавливая на него ровно с той силой, от которой не вскрикнешь, но вздрогнешь изнутри. Алина почувствовала, как что-то внутри дрогнуло и сдвинулось — не разум, не воля, а что-то старше и проще, то, что годами ждало, что кто-нибудь скажет: тебя заметили.

Малкольм тем временем закончил разговор, опустил телефон в карман и подошёл к столу. Ни одного лишнего движения. Папка раскрылась с негромким щелчком пластика: внутри — несколько листов, шрифт настолько мелкий и плотный, что буквы сливались в сплошной серый текст на бумаге. Прайс не произнёс ни слова. Положил контракт перед Алиной и посмотрел на неё — ровно, без выражения, с тем деловым нетерпением, которое появляется, когда осталась одна формальность и хочется, чтобы она поскорее была соблюдена.

Ручка появилась на столе раньше, чем Алина успела опустить глаза к первому абзацу. Виктория подвинула её к себе кончиками пальцев — жест мягкий, почти незаметный, но после него всё вокруг — кухня, чай, разбитая чашка на полу — перестало существовать отдельно, осталась только пустая строка внизу страницы.

— Я хочу, чтобы у тебя была вся информация, прежде чем ты примешь решение, — проговорила продюсер, и голос был таким тихим, что в нём почти звучала нежность. — Но окно закрывается сегодня.

Малкольм у окна проверил телефон.

Алина потянулась к ручке. Пальцы не дрожали — наоборот, рука была неестественно спокойна, и это спокойствие пугало больше, чем дрожь, потому что оно означало, что тело уже приняло решение за неё, отключив всё лишнее. Она не читала контракт. Не переворачивала страницы, не пыталась рассмотреть мелкий шрифт. Глаза нашли последнюю строку — пустую, с пунктирной линией — и остановились.

Подписала быстро, без завитков, аккуратно прорисовав буквы фамилии и две цифры даты.

Малкольм собрал листы, закрыл папку — негромкий щелчок застёжки, после которого напряжение в комнате исчезло сразу, будто кто-то выключил звук. Прайс кивнул Виктории и бросил на Алину ровный, деловой взгляд, не обещавший ни продолжения, ни благодарности. Подпись получена. Всё остальное его не касалось.

Виктория не торопилась вставать. Она мягко накрыла ладонь Алины своей рукой — кожа была тёплой, упругой, сухой, уверенной, без намёка на волнение, — и задержала её на несколько секунд, ровно настолько, чтобы жест ощущался не как формальность, а как обещание.

— Мне нравится, как ты это сделала, — проговорила она негромко. — Не каждый так может. Я буду рядом на всех этапах, хорошо? Мы в этом вместе.

Алина посмотрела на свою руку: пальцы бледные, неподвижные, и поверх них — ладонь продюсера, сильная и спокойная, удерживающая не только её кисть, но и всё, что за последние сутки в этой кисти рассыпалось. Потом Виктория убрала руку — плавно, не торопясь — поднялась, сняла пальто с крючка, накинула на плечи и шагнула к двери, не оглядываясь. Малкольм двинулся следом. Дверь хлопнула негромко, замок щёлкнул.

Алина сидела за столом, не двигаясь. Кружка с полустёртым логотипом Costa Coffee стояла перед ней, чай в ней остывал, и на поверхности плавала мутная пыль от старого пакетика. В кухонной нише пахло этим остывающим чаем и чем-то чужим — не духами, а чем-то более стерильным, запахом свежей полиграфии или кондиционированного воздуха, который принесли на одежде из офисов, где климат-контроль работает круглые сутки.

Алина не шевелилась. Контракт на тридцать дней чужой жизни, подписанный собственным именем. И ничего из этого уже нельзя было отменить.

За тонкой шторой тёк своим чередом сумрачный день, но в квартире ничего не менялось, только на столе рядом со стаканчиком ручек, среди которых одной не хватало, стояла кружка с чужим чаем. Квартира отказывалась принять то, что в ней произошло, — стены остались выкрашенными тем же кремовым цветом магнолии, стеллаж Billy всё так же висел, накренившись влево, на полке Толкин стоял рядом с Ле Гуин, и тонкий томик Цветаевой, мамин подарок, лежал между ними... И ничто из этого не знало, что жизнь, которой они принадлежали,

закончилась полчаса назад. Чай в чужой кружке остыл, оставив на поверхности мутную плёнку. Осколки на ковре потемнели, словно выросли в ворс за одну ночь. Холодильник в нише гудел — единственный звук, который не изменился и не собирался меняться.

Алина поднялась из-за стола и медленно подошла к окну. Не сразу посмотрела наружу — сначала задержалась взглядом на подоконнике, на пыли вдоль рамы, на том месте, где она привыкла стоять по вечерам, прислонившись плечом к косяку, с раскрытой книгой в руках. Именно так — стоя, в свете настольной лампы, за тонкой хлопковой шторой, которая ничего не скрывала. Именно так её видели снаружи. Годами.

Дом напротив стоял на расстоянии пятнадцати метров — тёмный кирпич, потемневший за столетие лондонских дождей, белые рамы, часть из которых облупилась до серой древесины. Номер сорок два. Она смотрела на него каждый вечер, не замечая, — так не замечаешь собственное дыхание, пока не задумаешься о нём, и только тогда понимаешь, что тебя всё это время слышали. Теперь Алина смотрела иначе. Теперь каждое окно этого дома было вопросом, и она не знала, хочет ли вообще знать ответ.

На первом этаже — плотные серые шторы, задёрнутые наглухо, ни движения, ни света. Кто-то жил за ними тихо, незаметно, и эта незаметность, прежде не вызывавшая ни единой мысли, теперь казалась нарочитой, продуманной, опасной. Выше — окна с белым тюлем, который пожилая соседка меняла дважды за лето с неожиданной для своих лет энергией; иногда она выглядывала наружу и махала рукой, если замечала Алину у подоконника, и в этом жесте никогда не было ничего, кроме одинокой приветливости, но сейчас и он вызывал холодок в груди. Ещё выше — тёмное окно, за которым по вечерам мерцал экран компьютера, и сосед в футболке Crystal Palace выходил на крохотный балкон покурить — стоял, задумчиво пуская дым, постукивая пальцами по перилам. Однажды он придержал Алине дверь в подъезде и улыбнулся через плечо, пробормотав что-то про плохой мобильный сигнал. Она забыла об этом в ту же секунду. Теперь вспомнила.

Мысль разрасталась, захватывая всё новые лица. Кассирша из Lidl на Бродвее, которая однажды задержала на ней взгляд и сказала по-русски, с мягким акцентом: «У тебя красивые глаза», — и тут же перевела разговор на пакеты, но фраза осталась, как остаётся случайное прикосновение незнакомца в метро. Мужчина из прачечной на Нелгард-роуд, который всегда здоровался первым и знал, в какие дни она стирает. Даже Морин — молчаливая, погружённая в свой кроссворд из Daily Telegraph Морин — однажды сказала между делом: «Ты слишком много времени проводишь у окна, дорогая. Люди заметят». Алина тогда рассмеялась. Сейчас эта фраза звучала совсем по-другому.

Любой из них мог быть тем, кто знал, на каком этаже она живёт, кто видел, как она поправляет волосы после дождя, кто слышал обрывки её ссор с Дмитрием через приоткрытую форточку. Любой мужчина, который хоть раз задержал на ней взгляд дольше положенного, теперь превращался в возможного автора письма, прочитанного вчера вечером перед двадцатью миллионами зрителей. Алина стояла у окна и перебирала лица, одно за другим, и с каждым новым воспоминанием Доггетт-роуд — тихая, невзрачная улица, на которой она прожила три года, не чувствуя ни привязанности, ни опасности, — превращалась в место, где за каждой шторой кто-то мог наблюдать, и это наблюдение давно уже не было случайным.

Она задёрнула штору — впервые за все годы в этой квартире — до конца, наглухо, так, чтобы ни одна полоска света не выдала силуэт. И тут же поняла, что поздно. Всё, что можно было увидеть, уже увидели.

Телефон на кухонном столе вздрогнул, подпрыгнул, замигал экраном. Номер родителей высветился крупными цифрами — и Алина несколько секунд смотрела на них, не поднимая трубку, потому что знала: этот звонок будет означать, что новость добралась до Эрдингтона, прошла через церковные сети и группы WhatsApp, через подругу из прихода и соседку по

лестничной клетке и дошла до маминой кухни быстрее, чем остывает чай в чайнике, который у Ларисы Сергеевны никогда не остывал.

— Аллю, — произнесла Алина тихо, не зная, чей голос услышит первым.

Мать заговорила по-русски, вполголоса, быстро, — тем особым полушёпотом, каким русские женщины обсуждают самое страшное, чтобы стены не подслушали. На заднем плане бубнил телевизор, кто-то шелестел газетой, и всё это долетало сквозь трубку приглушённо, привычно — звуки родительского дома, которые Алина узнала бы из тысячи.

— Алиночка, ты что наделала? — голос был густой, надтреснутый, голос бессонной ночи, проведённой не в слезах, а в деятельной, изматывающей тревоге — когда не плачешь, а что-то делаешь, звонишь, перепроверяешь, ходишь из комнаты в комнату. — Мне Надежда Павловна из храма позвонила в одиннадцать вечера, я думала — кто-то умер. А она говорит: «Лариса, включи телевизор». Я включила. И что я вижу?

В трубке повисла пауза, не растерянная, а выжидательная, и сам вопрос уже нёс в себе готовый приговор — мать не ждала ответа, она давала дочери время услышать тишину, которая заменяла крик.

— Тамара с третьего этажа пришла утром за солью — и между делом спрашивает, это ведь твоя дочь, да? Тётя Лена в общий чат написала — ты знаешь, какой это чат, там сорок человек. Отец твой сегодня в магазин на Слейд-роуд не пошёл. Ты понимаешь? Он не пошёл в магазин, потому что не мог людям в глаза смотреть.

Алина молчала. Она слышала в трубке, как мать переливает воду из чайника в кружку — звук знакомый, домашний, неразрывно связанный с запахом борща и гречки, с клеёнкой на столе, с детскими книгами на полке в её бывшей комнате, с укропом в саду, с Богородицей над диваном. Весь этот мир — маленький, бережно выстроенный мир тех, кто приехал в Англию ни с чем и двадцать лет собирал из ничего нечто, похожее на жизнь, — этот мир сейчас трещал по швам из-за одного прочитанного вслух письма.

— На работе узнают, — продолжала мать, и голос соскользнул в тот регистр, где вопрос и приговор уже неразличимы. — И что будут говорить? Ты подумала? Зачем им видеть тебя — как ты ходишь, как разговариваешь, как живёшь? Зачем?

Алина не спорила. Она повторяла коротко, упрямо, тем самым тоном, который выработала за годы этих разговоров, — тоном, который ничего не объяснял и ничего не обещал, только закрывал дверь:

— Мама, всё хорошо. Правда. Я в порядке.

— В порядке? — Лариса Сергеевна замолчала. Тишина длилась несколько секунд, и каждая из них была тяжелее предыдущей, потому что обе знали: когда мать замолкает, слова уже не нужны. Потом дыхание в трубке сбилось, и Алина поняла, что мать плачет, — беззвучно, сдвинуто, стараясь, чтобы никто не услышал.

— У тебя хотя бы деньги будут? — выдохнула она наконец, и Алина услышала в этом вопросе капитуляцию, и прагматизм, и последнюю надежду, что дочь хотя бы не бесплатно отдала то, что отдала. — Скажи мне, что за это платят. Я не переживу иначе.

— Да, мама, — сказала Алина, и собственный голос показался ей очень далёким, принадлежащим кому-то другому. — За это платят.

Тишина в трубке длилась несколько секунд. Алина слышала дыхание матери — сбивчивое, влажное — и далёкий, приглушённый звук телевизора. Потом Лариса Сергеевна заговорила снова, и голос стал другим: ровным, деловым, почти спокойным — она перестала бороться и перешла к инструкциям, как переходят к ним все матери, когда понимают, что дочь уже не переубедить.

— Тогда хоть надевай красивую одежду, когда тебя снимают, — сказала она тише. — И не смотри в камеру. У тебя глаза слишком тяжёлые, мне неприятно видеть тебя такой.

Алина не дослушала. Опустила трубку, нажав отбой. Телефон выскользнул из руки и упал экраном вниз, ударившись об осколки кружки — коротко, сухо звякнув.

Квартира замерла. Тишина заполнила двадцать пять квадратных метров так плотно, что стало трудно дышать. И тут на лестнице снова послышались шаги. Но не те, что были утром, — не деловитые и размеренные. Эти были тяжёлые и неровные, каждый отзывался в двери глухим толчком, и по одному этому звуку, ещё до стука, ещё до голоса, Алина поняла, кто идёт.

Дмитрий не стучал дважды. Дёрнул ручку, толкнул дверь и шагнул внутрь, не глядя на неё, сразу заняв собой всю прихожую. Дверь осталась открытой, сквозняк с лестницы потянул по ногам, принесся с собой запах сырой штукатурки и чужой жареной рыбы из квартиры А. Гость стоял, чуть расставив ноги, руки в карманах спортивных штанов, куртка накинута поверх майки, и на лице — то выражение, которое появлялось у него всякий раз, когда его гордость была задета: подбородок тяжелее обычного, челюсть сжата, глаза неподвижные. Широкие плечи, массивные предплечья — с юности работал руками и привык, что тело занимает столько места, сколько ему нужно, не спрашивая разрешения.

Он не говорил. Просто смотрел на Алину — не на неё, а на проблему, которую нужно было решить, и в этом взгляде не было ни заботы, ни вопроса, только обида, перешедшая в гнев так быстро, что между ними не осталось зазора.

Алина молчала, стоя у кухонной ниши. Воздух между ними стал плотным, горячим, неподвижным.

Первым не выдержал он:

— Ты хоть понимаешь, что сделала? — спросил глухо, не повышая тона, но в словах уже было больше угрозы, чем заботы. — Мне звонят пацаны с работы. Мать звонит. Скриншоты присылают. Ты совсем, что ли?

Алина не отвечала. Дмитрий шагнул ближе — слишком быстро, одним движением сократив расстояние между ними до полуметра. В полумраке коридора всё его тело заняло обзор целиком — плечи, куртка, руки, кулаки. Он не кричал: говорил негромко, сдавленно, сдерживая что-то внутри, на что у него не хватало слов.

— Ты зачем туда пошла? Чтобы на тебя вся страна пялилась? Чтобы меня с работы выкинули? Чтобы у матери моей инфаркт случился? Ради чего?

Он говорил не о ней. Он говорил о себе — о своей работе, о своей матери, о своём стыде. Алина смотрела на его руки, сжатые в кулаки, на побелевшие суставы пальцев, на то, как губы сжимаются в узкую линию, — и видела в этом не опасность, а привычку. Самый обычный парень из русской общины, для которого любить и означало — владеть, держать рядом, не отпускать; он терял не женщину, а что-то, что считал безусловно своим, и от этой потери не знал, куда деть руки.

— А ты думал, мне приятно? — произнесла она спокойно, ровно, без страха и без обиды, с усталостью, которая копилась годами и наконец перестала помещаться внутри. — За два года ты хоть раз спросил, чего я хочу?

— Ты что несёшь? — голос у него дрогнул. — Я тебе всё дал, ты жила со мной, одевалась, ели нормально, не голодали! Ты же писала свою хрень, я не мешал!

— Ты не мешал? — теперь она смотрела ему в глаза, не моргая. — Ты ни разу не спросил, что мне нужно. Ты просто хотел, чтобы я была рядом. Как вещь.

Дмитрий шагнул вплотную — не чтобы напугать, а потому что не умел иначе: когда слова заканчивались, он сжимал пространство телом, не оставляя ей места отступить. Алина не отступила.

— Я бы не стала участвовать в этом, если бы не ты, — сказала она негромко, но чётко, и каждое слово ложилось точно туда, куда было нацелено. — Знаешь почему? Потому что хотя бы там я могу что-то решать сама.

Он тяжело дышал. На секунду отступил — но только потому, что не нашёл, чем ответить. Потом подался вперёд, навалился — не ударом, не жестом, а всем весом, всем телом — так, как привык добиваться своего: физически, напрямую, без слов.

Они столкнулись у стены. Она вжалась спиной в обои цвета магнолии, а он прижал её к стене, сжав пальцами запястья, и это было не больно, но властно — владение, предъявленное в последний раз. И в этом прикосновении, грубом и отчаянном, Алина вдруг почувствовала не злость, а что-то более старое и простое: тоску по тому, что между ними когда-то было, по тому, чем оно могло бы стать и не стало.

Она вспомнила.

Съёмная квартира в Хаммерсмите, тесная кухня, запах борща и дешёвого вина из Tesco в пластиковых бокалах. Кто-то из взрослых спорил о цене авиабилетов, кто-то смеялся в прихожей, на столе — нарезанная селедка и хлеб... Тот вечер был похож на сотню других вечеров русской общины в Лондоне, где все знали друг друга и никто не знал по-настоящему. Алина стояла у окна с бокалом, не зная, куда себя деть. Дмитрий подошёл позже всех — без попыток произвести впечатление, просто встал рядом, сдвинув плечи, и не отводил глаз. Потом сказал тихо, по-русски: «Давай выйдем на балкон, тут душно». Там он молча прикурил сигарету и протянул одну ей. Она не курила, но взяла, потому что не хотела спорить. Дым царапал горло, а он просто стоял рядом, и тепло его тела было единственным, что её грело в тот вечер. Она не влюбилась — она просто устала быть одна. И этого хватило на два года жизни бок о бок, которая так и не переросла во что-то настоящее.

И вот — снова стена, его дыхание на её коже, запах пота и дешёвого дезодоранта, и та же самая близость, в которой никогда не было нежности, только жар и привычка. Алина вцепилась пальцами в ворот его куртки, с силой дёрнула на себя и услышала, как у него сбилось дыхание. Дмитрий запустил руку ей в волосы, потянул вниз, но она не отстранилась — прижалась к нему теснее, крепче, словно пыталась вдавить в его тело всё то, что не успела сказать за два года.

На кровать они рухнули молча. Алина стянула с его плеч майку, он сорвал с неё лифчик рывком, не расстёгивая, и сжал грудь грубо, жадно — так, что осталось ощущение не ласки, а присвоения. Она раздвинула ноги, и его рука легла между ними уверенно — единственное, в чём он никогда не сомневался. Не осталось ни стыда, ни страха — только пульс под кожей, горячий и частый.

Секс был злым. Зубами он вжимался ей в шею, ладонью сжимал бедро до боли, и в какой-то момент на коже осталась багровая полоса. Алина не жаловалась — отвечала тем же: царапала его плечи, впивалась в губы, хватала за волосы, потому что только так, на равных в этой грубости и ярости, можно было не думать о том, что это в последний раз.

А это был последний. Она знала — не разумом, а телом, которое прощалось с единственной близостью, какую знало: горячее, голодной, начисто лишённой слов. Всё, что будет после — тридцать дней, семеро мужчин, камеры, браслет на запястье — будет другим, публичным, подсчитанным, расписанным по минутам для миллионов глаз. Но эти царапины на его спине, этот пот, этот стон в подушку, эта ярость на продавленной кровати в квартире за девятьсот фунтов в месяц — принадлежали только им двоим. И больше уже никогда не повторится.

Она почувствовала, как он ворвался — резко, без предупреждения, так что перехватило дыхание. Они оба задыхались, и в эти секунды ничего больше не существовало — ни ссоры, ни контракта, ни подписи на пунктирной линии, только рваный, неуправляемый ритм двух тел, знавших друг друга лучше, чем те двое, которым эти тела принадлежали.

Алина обхватила его бёдрами, упёрлась пятками ему в спину, и, когда он сжал её плечо, тело ответило раньше сознания — вспыхнуло изнутри, коротко и остро. Её спина прилипла к простыне, его рука лежала на груди, их дыхание мешалось с гудением холодильника за стеной и стуком кровати о стену. Через тонкую штору просвечивала Доггетт-роуд, и если кто-то

в доме напротив стоял у окна, он видел два силуэта и слышал звуки, которые не требовали объяснений.

Дмитрий сломался первым, сжав её бедро сильнее, чем следовало бы, а она, не отрывая пальцев от его шеи, тоже сдалась этому чувству — ничего заранее, никакого контроля, только последняя вспышка, после которой стало удивительно тихо.

Они лежали рядом, прикасаясь друг к другу только ногами, и тяжело дышали. По потолку медленно скользил свет из окна — вечерний, рыжеватый, уже уходящий. В комнате пахло потом, горячими телами, остывающим теплом двух людей на узкой кровати. Простыня сбилась к стене. На коже Алины краснели следы его пальцев, на его плечах — её царапины. Всё, что осталось от этого — метки на коже, единственное, чего не увидит ни одна камера.

Дмитрий медленно выдохнул и закинул руки за голову, уставившись в потолок.

— Я всё равно буду участвовать, — произнесла Алина ровно, без интонации, так что нельзя было понять, говорит она ему или себе.

Он какое-то время не шевелился. Потом коротко взглянул на неё и сказал тихо, по-русски:

— Ты там сдохнешь.

В этих словах не было ни угрозы, ни злобы — только усталость и та глухая безнадёжность, когда всё, что можно было сказать, уже сказано.

Алина не ответила. Повернула голову к окну. Снаружи темнело. Дом напротив стоял тёмный, без единого огня — ни в одном окне не горел свет, ни за одной шторой не шевелилась тень. Номер сорок два. Пятнадцать метров между ней и зданием из тёмного кирпича и мутного стекла. Где-то за одним из этих окон человек месяцами, а может, годами смотрел на неё — на то, как она читает у рамы, как поправляет волосы, как ставит чайник, как плачет после ссор. Смотрел и запоминал деталь за деталью, пока не решил, что знает о ней достаточно, чтобы отдать её миру. И отдал.

Она лежала на продавленной кровати в квартире за девятьсот фунтов, с ещё не остывшим телом, рядом с мужчиной, для которого близость всегда была формой владения, — и которого она так и не сумела ни полюбить, ни бросить. На коже ещё ощущался след его руки — тёплый, тяжёлый контур, который будет держаться до утра. А потом наступит утро, и Дмитрий уйдёт, и она останется одна в этой квартире, где пахнет чаем и сыростью и где больше нет кружки с красными буквами, — и начнётся всё остальное.

В доме напротив не зажглось ни одно окно. Но Алине казалось, что кто-то стоит за тёмным стеклом и смотрит. Как всегда. Как все эти годы.

Глава 4. Аукцион

Дмитрий ушёл, оставив после себя тишину между кремовыми стенами. Дверь за ним захлопнулась, шаги простучали по скрипучей лестнице и растворились в Доггетт-роуд, и через минуту от него не осталось ничего — ни запаха, ни вмятины на подушке, только неподвижный, нежилой воздух, как будто в квартире никто не жил по-настоящему, и ощущение измятости и бессилия, как всегда бывало после близости с ним.

На улице похолодало после дождя, и в квартире сразу стало зябко. Но Алина не включала обогреватель, расположенный в комнате вдоль плинтуса. Счётчик электричества в коридоре показывал два фунта восемьдесят, и цифра стремительно уменьшалась, несмотря на старательные попытки экономить. Впрочем, это было привычно, как запах жареной рыбы из квартиры А и то, что энергосберегающая лампочка на площадке загоралась только через тридцать секунд после выхода из квартиры.

Простыня осталась на полу. Алина встала, потянулась за футболкой — привычным движением, почти не глядя, — и остановилась. На улице начало темнеть, но за тонкими хлопковыми шторами, через пятнадцать метров улицы, дом сорок два стоял тёмный. Ни огонька, ни движения за окнами — как всегда, как каждый вечер, когда она смотрела в ту сторону, не отдавая себе в этом отчёта. Она натянула футболку, застегнула джинсы, хотя обычно не застёгивала, села за стол у окна и открыла ThinkPad. Голубой свет экрана лёг на плечи и на стены, сделав их ещё более пустыми, чем при дневном свете.

Файл с романом открылся, как обычно — белое поле, триста двенадцать страниц, слово «Final» в имени файла, от которого каждый раз хотелось отвести глаза. Курсор пульсировал на пустом месте, и в этой пульсации было всё её писательство последних двух лет: тишина на Amazon, двадцать скачиваний, ни одного отклика от читателей, пусть даже негативного. Она не щёлкнула ни по одной строке — только смотрела, словно белое поле документа могло ответить на вопрос, который она не умела задать вслух.

Потом открыла BBC News. В правом углу страницы мелькнуло лицо, и Алина не сразу поняла, что это её лицо. Школьная фотография: серая форменная рубашка, гладкие волосы убраны за уши, взгляд, в котором упрямства больше, чем страха. Пятнадцать лет назад, другая страна — снимок, вытасченный из чьего-то архива и выложенный перед миллионами без спроса, как чужое бельё на просушку. Жёлтым маркером выделено имя, рядом переведённые строки Цветаевой, которые она никогда не цитировала вслух, — кто-то откопал забытый аккаунт с двадцатью подписчиками и вынес на свет то, что писалось для себя одной.

На ITV бегущая строка «RUSSIAN GIRL NEXT DOOR: EXCLUSIVE» и скриншот из книжного Owl & Crescent — она за кассой, вполоборота, не подозревающая об объективе. И подпись: «The reality star you never noticed» — «Звезда реалити-шоу, которую вы не замечали». Имя на латинице казалось чужим, надетым поверх настоящего. На канале Channel 4 четверо незнакомцев обсуждали её привычку поправлять волосы — жест, который Алина совершала сотни раз у кассы, на остановке, на ходу, не задумываясь и не замечая. Один назвал это сексуально возбуждающим, другой — манипуляцией, третий произнёс слово «аутизм». Справа мелькали комментарии зрителей: «She looks sad», «Peak Index will explode for her» — «Она выглядит грустной», «Теперь её популярность взлетит до небес». Четверо людей, которые никогда не видели её в жизни, резали по живому — и каждый находил в разрезе то, что искал.

Sky News показывал Бирмингем. Дождь, Эрдингтон, порог двухэтажного кирпичного дома с подстриженным газоном и серебристым Vauxhall Astra на подъездной дорожке. Мать стояла перед камерой — Лариса Сергеевна, женщина, которая пятнадцать лет гордилась тем, что ни разу не привлекла к себе внимания, — и голос её, срывающийся, путающий русские и английские слова, звучал так, как звучат люди, не знающие, на каком языке просить пощады:

«Она хорошая девочка... Пожалуйста, она моя дочь». За спиной отец, Кирилл Антонович — с той сдержанностью в лице, которая давно перестала быть выбором и стала единственным способом держаться. Он не произнёс ни слова. Его молчание и было его ответом — на языке, который Алина выучила раньше русского и английского.

Морин сказала в камеру: «Хорошая девочка, тихая, любила книги» — пять слов, произнесённых тоном, каким произносят надгробные речи, коротко и окончательно. Одноклассники из Москвы, найденные через соцсети, подключённые по видеосвязи, держали школьные фотографии и говорили тихо, как говорят у гроба: «Она всегда была скромная... А теперь вон что...» — и смеялись тем особым смехом, в котором нет ни злобы, ни радости, только нервное облегчение: это не я, это не обо мне.

Кто-то уже продал её детское фото таблоидам. The Sun вынесла на первую полосу два снимка: слева — девочка в школьной форме, справа — строки из письма, а между ними жирным шрифтом: «Who is she really?» — «Кто она на самом деле?». Буквы были набраны тем размером, который газета приберегала для королевских скандалов и терактов, — заголовок читался с автобусной остановки на Кэтфорд-Бродвей, где ещё вчера утром Алина ждала сорок седьмой маршрут и не знала, что её саму ждёт вся Англия.

Она переключала вкладки — ITV, Channel 5, TalkTV, Newsnight — и на каждой странице видела одно и то же лицо — своё, увеличенное, изменённое, собранное заново в чужих пропорциях. Вся её жизнь — от московской школы до Догтетт-роуд — разложена перед любопытными обывателями за один день, не ею — вместо неё, чужими руками и чужими словами.

Телефон зазвонил, и потом уже не умолкал. В WhatsApp русские чаты пульсировали: бирмингемская община узнала раньше телевизора — подруга матери из церкви позвонила первой, и информация потекла по каналам, которые работали быстрее любого британского СМИ, — по группам при храме Рождества Пресвятой Богородицы, по домашним телефонам на Слейд-роуд, где звонили не утешить, а первыми узнать масштаб позора. В английских чатах кто-то узнал её, потому что однажды покупал книгу в Owl & Crescent, кто-то — потому что ехал в том же автобусе. В Telegram за три часа появился паблик, где фотографию Алины вклеили в коллаж с Эми Уайнхаус и подписали: «Too shy to live, too famous to hide» — «Слишком застенчива в жизни, но слишком знаменита, чтобы оставаться неизвестной».

Алина положила телефон экраном вниз — медленно, как кладут вещь, которую больше не хотят держать в руках, а затем опустила на пол у кухонной ниши — тело просто перестало слушаться. Она ощутила холод линолеума сквозь джинсы и подумала, что надо бы всё-таки включить отопление, но опять вспомнила о счётчике.

За дверью кто-то спотыкался на лестнице — лампочка на площадке загоралась с опозданием, и на секунду Алина испугалась, что это опять кто-то поднимается к ней. Но шаги прошли мимо её двери и стихли, а вместо них водяные капли медленно забарабанили по жестяному откосу окна — дождь возвращался на Догтетт-роуд не ливнем, а тихой бесцветной моросью, которая не начинается и не заканчивается, а просто есть.

Она продолжала сидеть на холодном линолеуме, руки не дрожали, слёзы не шли. Осталось то, что труднее слёз, — тихая пустота без дна и без края, с которой нельзя было ни бороться, ни договориться. Если бы сейчас её увидели двадцать миллионов — а именно так и было, потому что где-то в здании на Шордич-Хай-стрит, за чёрной дверью без ручки, серверы Peephole записывали всё, что можно записать, — она бы не заплакала и не побежала. Сидела бы, как сейчас, среди осколков кружки и своей жизни, ничего не объясняя, потому что объяснить было некому, да и нечего.

На счётчике в коридоре оставалось два фунта восемьдесят — хватит до пятницы, если не включать обогреватель. Курсор на ThinkPad продолжал пульсировать — триста двенадцать страниц, двадцать скачиваний, «Final». За окном дом напротив стоял тёмный, и Алина подумала — нет, теперь она была уверена, что тёмные окна — не значит пустые.

Она не двигалась. Не потому что не могла — просто не находила причины. За окном темнело, и оранжевые натриевые фонари на Доггетт-роуд зажглись один за другим, отбрасывая тени платанов на мокрый тротуар. Свет в квартире она не включала — сидела на полу у кухонной ниши, прислонившись спиной к стене, и холод линолеума давно стал привычным, как всё в этих двадцати пяти квадратных метрах рано или поздно становилось обыденным.

Телефон лежал экраном вниз. Корпус несколько раз вздрогнул от уведомлений, но Алина не тянулась к нему — пока не услышала длинную вибрацию, какая бывает при прямой трансляции. Тогда рука сама нашла телефон, перевернула, разблокировала.

Peerhole загрузился мгновенно — чёрный фон, розовый глаз в замочной скважине, строка внизу экрана: «LIVE: Vambassio Special — The Auction». Алина поднесла телефон к лицу — единственный источник света в тёмной квартире, и из маленького динамика, тонко и металлически, полился голос, который знала вся страна.

Студию в Чизике она видела на четырёхдюймовом экране, сидя на полу в Кэтфорде, — и контраст не требовал слов. Двести кресел, расставленных амфитеатром вокруг круглой сцены, были заняты целиком. Двенадцать огромных экранов на стенах показывали логотип Peerhole и бегущую строку ставок. Музыкальное вступление из динамика телефона превратилось в жестяной звон — те басы, от которых в зале вибрировали кресла, здесь стали комариным писком, и это было, пожалуй, единственное честное во всём происходящем: масштаб, уменьшивший звук до размеров её жизни.

Бомбацио стоял в центре — невысокий, коренастый, в тёмном костюме, с ровным загаром и зубами, которые заполняли всё лицо каждый раз, когда он улыбался. Сейчас он улыбался. Но маленькие карие глаза жили отдельно от рта — быстрые, цепкие, они охватывали всё сразу, пока баритон с лёгкой хрипотцой произносил слова, которые хотелось одновременно слушать и выключить звук:

— Добрый вечер, Англия! Сегодня — особый выпуск. Новое письмо. Новая героиня. И тридцать два мужчины, которые хотят оказаться рядом с ней! — пауза. Ведущий умел держать паузы так, что тишина ощущалась физически. — Шесть мест. Одно уже занято — автор письма участвует бесплатно. Остальные платят. Сколько — решают они.

Он понизил голос до интимного, почти домашнего тона, обращённого к двадцати миллионам человек, — и каждому давал ощущение, что обращаются лично к нему:

— На кону — миллион фунтов. И наша Алина.

Два слова — «наша Алина» — упали в тишину квартиры и легли на линолеум рядом с ней, тяжёлые и чужие. На полу в Кэтфорде девушка, которую только что называли «нашей», прижала колени к груди и не отвела взгляда от экрана.

На дисплее возникла таблица: тридцать два анонимных номера, рядом с каждым — сумма. Розовые цифры на чёрном фоне, ни имён, ни лиц — только номера и деньги. Всё выглядело, как вечерние торги в Sotheby's — только вместо картины продавали живого человека, девочку, которую одноклассники час назад вспоминали как тихую и застенчивую. Под таблицей бежала полоса букмекерских ставок — коэффициенты обновлялись каждую секунду.

— Первая ставка — сто двадцать тысяч фунтов! — произнёс ведущий, и зал откликнулся сдержанными аплодисментами, как на благотворительном ужине, где хлопают каждому значительному взносу.

— Сто пятьдесят! — номера начали гаснуть.

— Сто восемьдесят! — два десятка строк исчезли, и оставшиеся цифры стали крупнее, пульсируя розовым.

Алина смотрела, как суммы растут и падают. Каждая превышала всё, что она заработала за шесть лет в Owl & Crescent — одиннадцать фунтов сорок четыре пенса в час, расстановка книг, касса, витрина. И вот незнакомец под анонимным номером выкладывал за право ока-

заться с ней в одном городке больше, чем стоила её квартира, её жизнь, все двадцать скачиваний её романа, вместе взятые.

— Двести тысяч! — объявил Бомбацио, и в голосе появилось удовлетворение человека, который выстроил всё это собственными руками и теперь видит, что механизм работает именно так, как задумано.

— Двести десять!

Экран дрогнул, цифры замерли. На чёрном поле осталось шесть строк — шесть номеров, за каждым из которых стоял мужчина, заплативший больше, чем Алина могла представить. Двадцать шесть других исчезли, словно и не существовали.

Бомбацио выдержал паузу — ту самую, отточенную двумя десятилетиями прямых эфиров. Поправил лацкан, провёл пальцами по микрофону и посмотрел в камеру так, словно видел Алину сквозь экран и дождь, сквозь стены этой квартиры — на полу, с телефоном у лица.

— А теперь, — произнёс он, и зубы снова заполнили весь экран, — познакомьтесь!

На сцену вышли семеро — шестеро победителей и автор письма, вперемешку, без указания, кто платил. На экране телефона их лица были не больше ногтя, но Алина вглядывалась в каждое, запоминая то небольшое, что позволял маленький дисплей. Оливер — высокий, уверенный, с улыбкой, которая обещала больше, чем следовало. Эдвард держался тихо, по-книжному, и глаза у него были внимательные, очень неподвижные. Дэнни — коренастый, с широкой ухмылкой и северным акцентом, который был слышен даже через динамик. Найджел выглядел постарше остальных, и в жестах его чувствовалась отцовская размеренность. Марко — смуглый, подвижное лицо, руки в постоянном движении. Райан — широкоплечий, молчаливый, со шрамом над бровью. Кит не запоминался: средний рост, средние черты, человек, которого камера не находила интересным.

Семь лиц. Завтра она окажется заперта с ними в городке, откуда нельзя уехать. Каждого из семерых Алина видела раньше — или ей так казалось. Каждое лицо вызывало что-то в памяти: очередь на Кэтфорд-Бродвей, второй этаж даблдекера, отражение в витрине Owl & Crescent, силуэт на платформе Кэтфорд-Бридж. Семь мужчин — и ни одного она не могла привязать ни к месту, ни ко времени, но от каждого оставался тот тянущий, ноющий след в памяти, какой оставляет чужой взгляд, пойманный краем глаза и тут же ускользнувший, — и она так и не вспомнила где.

На экране телефона вспыхнули семь лиц — сначала размытые, нечёткие, как кадры камер наблюдения, потом поверх каждого наложилось имя, и к именам добавились короткие ролики.

Оливер Хант шёл первым — с уверенностью, которую не покупают, а наследуют. В ролике он стоял с бокалом у барной стойки и произносил: «Если хочешь выиграть — играй на победу». Сказал это неторопливо, как человек, которому редко говорили «нет».

Дэнни Бёртон ехал за рулём старого фургона, подбрасывал пачку чипсов и смеялся в камеру — улыбка доходила до глаз и внушала доверие ещё до того, как успеешь подумать, стоит ли доверять.

Эдвард Лэм — слегка потрёпанный, смотрел в объектив прямо, не мигая, не демонстрируя улыбки. В его клипе — книжный магазин, он листал страницы и произносил тихо: «Слова раскрывают людей, а не маскируют», — и в голосе была та неторопливость, за которой могла стоять настоящая глубина, а мог стоять пустой книжный шкаф.

Марко де Лука поднимал бокал в пабе, легко касался плеча собеседника и говорил: «Настоящее узнаёшь только вблизи — издали всё одинаковое».

Найджел Кросс — седина, проступающая сквозь тёмные волосы, морщины вокруг глаз, в которых читался опыт. В ролике он сидел на парковой скамейке и произносил: «Лучшие решения принимают без лишних эмоций», — и в этой размеренности было что-то, что легко принять за спокойную уверенность и трудно отличить от давления.

Райан Коул — его ролик оказался короче прочих: ни одного слова, только взгляд в камеру — прямой, короткий — и тренировочный зал за спиной.

Кит Моррис — аккуратные каштановые волосы, черты лица, по отдельности неплохие, а вместе — такие, которых камера «не находит». Сидя у окна, он произнёс: «Тишина бывает громче крика», — и улыбнулся тонкой улыбкой, которая ничего не обещала и ничего не объясняла.

Семь роликов, по одному на каждое лицо и каждый голос, смонтированных так, чтобы каждый казался откровением. Алина смотрела на них снизу вверх — в буквальном смысле: лёжа на полу, держа телефон над собой, — и каждое лицо чем-то отзывалось в памяти. Оливера она видела — или думала, что видела — в отражении витрины на Льюишем-Хай-стрит.

Эдвард напоминал кого-то из очереди в Lidl. Дэнни мог сидеть через проход в даблдекере на сорок седьмом маршруте. Марко — стоять за спиной на платформе Кэтфорд-Бридж. Найджел, Райан, Кит — все они мелькали на периферии её обычных дней, в толпе на остановке, в дверях закусочной, в мокром отражении на тротуаре Доггетт-роуд. Ни одного она не могла привязать к конкретному месту или дню, но каждый оставлял в сознании мутный, неразрешимый зуд — ощущение, что тебя увидели раньше, чем ты увидела их.

Экран телефона погас — автоматически, от бездействия. Квартира провалилась в темноту, и за окном проступили только мутные силуэты домов в оранжевом свете натриевых фонарей. Алина лежала в этой темноте, и семь лиц стояли перед глазами — не на дисплее, а на внутренней стороне век, впечатанные, как ожог от вспышки.

Она коснулась экрана — и лица вернулись. Таблица, ставки, ролики — всё на месте, розовое на чёрном. Никуда не делись, не потускнели. Стали частью того, что теперь было её жизнью, — так же, как счётчик с двумя фунтами восьмьюдесятью пенсами, как осколки кружки на ковре, как дождь за окном, который не кончался.

Завтра она окажется запертой с ними в городке, откуда нельзя уехать. Один из этих семей написал письмо. Память, перебирая лица, не могла остановиться ни на одном, но и отпустить не получалось.

Алина снова села на полу, скрестив ноги, и свет от экрана телефона падал снизу на лицо, делая его бледным и чужим — лицом из другой жизни, а не из той, которая протекала в квартире на втором этаже дома тридцать семь и в маленьком книжном магазине со странным названием «Сова и полумесяц». Волосы, собранные в грубый хвост, открывали шею, и в этом голубоватом свечении кожа на висках казалась такой тонкой, что можно было разглядеть пульс — всё хрупкое устройство жизни, которое через экран уже увидела целая страна.

Внутри не было страха. Было другое — то невесомое, почти освобождающее чувство, которое приходит, когда понимаешь: снимать больше нечего. Ни одежды, ни масок — даже имя больше не принадлежало тебе одной. Тридцать два мужчины только что торговались за право приблизиться к ней, и сумма, которую они выложили, превышала всё, что эти руки — с чернильным пятном на правом среднем пальце от шариковой ручки у кассы в Owl & Crescent — могли заработать за десятилетие расстановки книг по алфавиту.

Телефон в руке вздрогнул — не коротким толчком уведомления, а протяжной, упрямой вибрацией звонка, которая прошла от ладони по запястью и отозвалась где-то под рёбрами, как отзывается в теле тяжёлый колокольный удар, слышимый не ушами, а всей грудью.

Экран вспыхнул: «Неизвестный номер» — два слова, выжженные на чёрном. Алина знала, что это не мать — Лариса Сергеевна звонила по вторникам и четвергам, и этот порядок был одним из немногих в мире, на которые ещё можно было положиться. Не Дмитрий — тот ушёл и не вернётся, как уходят люди, которые научились делать это молча. Не Морин — Морин не звонила никогда, и в этом заключалась целая философия, которую владелица книжного за тридцать семь лет не сочла нужным объяснять никому.

Вибрация не стихала. Алина поднесла телефон к уху медленно, обеими руками, принимая его так, как принимают весть, которая не может быть ни хорошей, ни плохой — только неизбежной. Нажала кнопку ответа и молча ждала.

В трубке была тишина — плотная, набухшая от чужого дыхания, от того сдавленного воздуха, который бывает в комнатах, где человек стоит у окна и долго смотрит наружу, не решаясь произнести то, ради чего встал. Потом, без паузы и без предисловия, прозвучал голос — низкий, чуть искажённый, будто записанный на диктофон и прогнанный через десяток фильтров: «Наконец ты будешь моей. До встречи на шоу».

Связь оборвалась — сухо, без шелчка, как будто на том конце просто положили трубку на стол и ушли.

Глава 5. Холлоуфилд

Внутри микроавтобуса стояло душное тепло. Окна были закрыты наглухо, чёрные шторы, прилипшие к стёклам, не оставляли ни единого просвета — полная, глухая темнота, не связанная ни со временем суток, ни с миром за обшивкой. Мотор работал плавно, без рывков, с монотонностью, в которой угадывалось чьё-то указание: везти тихо, не тревожить. За жёсткой перегородкой водитель молчал, шум колёс о дорожное покрытие доносился глухо, и даже подъёмы превращались в едва уловимую смену тона, не дающую никакого представления о маршруте.

Алина сидела на краю стёганого сиденья, выпрямив спину, сжав колени. Пальцы были переплетены на коленях напряжённо, неподвижно — хватка человека, который держится не за что-то, а за самого себя. Она сжимала запястья и считала вдохи, потому что каждый приближал её к тому, что ждало впереди, — к жизни, в которой уже не будет ни гудящего по ночам холодильника, ни мигающего счётчика электричества на стене, ни тонких белых занавесок, отделявших её от улицы и от чужих глаз.

Потом снаружи что-то изменилось. Машина замедлила ход, послышался низкий механический гул, приглушённый скрежет ворот — и в салон откуда-то проник другой воздух, стерильный, лишённый дождя и бензиновых выхлопов, пахнущий свежескошенной травой и ещё чем-то, чему она не могла подобрать имени, — не домом пахло, не Лондоном, а чем-то средним, выверенным, подобранным с точностью, не допускающей случайности.

Дверь щёлкнула. Молодая женщина встала, упершись подошвами тяжёлых ботинок в пол, и приподняла край шторы.

Свет хлынул разом — плотный, ослепительный, невозможный для Кэтфорда ни в один месяц года. Глаза привыкали медленно, и первым, что проступило сквозь белизну, были деревянные въездные ворота, распахнутые широко и подсвеченные снизу. За ними виднелась дорога — брусчатка из светло-серого известняка, неровного и по-настоящему старого, явно привезённого из какого-то разрушенного мельничного городка и уложенного заново. Однако камни не поддались общему замыслу — они сохранили свои щербинки, свои сколы, свою неправильность. Мох в швах брусчатки рос свободно, темнея на стыках, — единственная деталь, которую строители этого места не смогли подчинить.

Алина медленно вышла из автомобиля, впуская в лёгкие холод незнакомого воздуха. Подошвы глухо стукнули о мостовую — и звук разнёсся по пустой улице с тем особым тоном, какой бывает только от шагов по камню, не по асфальту. Вокруг не звучало ни голосов, ни шорохов — только этот её одинокий шаг на брусчатку — и тишина вслед за ним.

Холлоуфилд раскинулся перед ней — деревня, совершенная до неправдоподобия, слишком чистая и завершённая, в которой всё выглядело правильнее, чем бывает в жизни. Коттеджи из котсуолдского известняка с крышами из серого сланца стояли по обе стороны Хай-стрит, фасады без единого пятна или трещины, без облупившейся краски ровно отражали утренний свет. На каждом подоконнике — цветочные ящики с геранью, петунией и лобелией красно-бело-синей гаммы, высаженными с такой симметрией, что ни один лепесток не нарушал рисунка. Белые рамы окон сияли — ни пятнышка, ни пылинки — ничего, что выдавало бы жизнь, которая якобы за ними протекала. В настоящих сурреалистических деревнях десятилетиями копят мелкие изъяны: потрескавшиеся бордюры, грязь, оставшаяся на дорожках после дождя, краска, выгоревшая на южной стороне. В Холлоуфилде ничего этого не было, и именно отсутствие изъянов выдавало подделку вернее любого доказательства.

В центре площади стоял каменный фонтан — круглый, невысокий, полтора метра в диаметре. Вода в чаше не текла — неглубокая плёнка стояла неподвижно, с лёгким зеленоватым

оттенком по краям, и это было единственное несовершенство на всей площади, расположенное точно в её центре.

Пение птиц возникло из ниоткуда — мерное, неестественно ровное, с медитативным повтором, который живая природа не способна воспроизвести. Девушка подняла глаза к карнизам и увидела динамики, замаскированные под деревянные панели, — птичьи трели были рождены не горлом, а электричеством. Писательская привычка сработала раньше сознания: Алина уже мысленно записывала эту деталь, подбирая ей место в абзаце будущей книги, хотя каждый нерв был натянут от тревоги.

Дорожка от площади вела к пабу под названием «The Lamb», латунная вывеска, начищенная до зеркального блеска, отбивала блики даже в неярком свете, дверь выглядела свежее окрашенной, петли смазанными, а порог — без единой царапины. Всё здесь было рассчитано и проверено, каждый сантиметр, каждая деталь — и Алина чувствовала этот расчёт так же отчётливо, как чувствовала когда-то на Кэтфорд-Бродвей тяжёлый запах жареной курицы из Morley's, пропитывавший куртку и волосы. Только там за этим запахом стояла жизнь, грубая и настоящая, а здесь за каждой деталью стояла имитация, доведённая до совершенства.

Алина застыла посреди Хай-стрит. Тишина стояла такая, что собственное дыхание становилось посторонним звуком, вторжением в отрешённый покой. Ни силуэта за занавесками, ни шороха за кустами — даже далёкого лая не было слышно, только ровные трели из-под карнизов и едва слышный шелест ветра по газону, подстриженному с хирургической ровностью. Воздух пах лавандой из цветочных ящиков и мокрым камнем — мостовая была влажной, хотя дождя не было. Откуда-то из-за домов тянуло тёплой свежей выпечкой — хлебом из пекарни на Хай-стрит — единственный настоящий запах в этом месте, за которым стояло что-то живое.

Она стояла одна, и каждая клетка тела знала: за ней наблюдают. Камеры, встроенные в фонарные столбы, в карнизы, в цветочные ящики, фиксировали каждое движение зрачков, каждый вдох и малейший поворот головы. Двести миллионов глаз по ту сторону экранов видели сейчас, как она стоит — растерянная и прямая, со сжатыми кулаками — посреди улицы, выстроенной не для жизни, а для наблюдения.

Молодая женщина не испытывала ни удивления, ни ужаса — только голую настороженность, от которой холодело под рёбрами. Хотелось протянуть руку и коснуться стены, проверить, настоящий ли камень, — но даже камень наверняка окажется идеальным, без единой шероховатости, и это отбивало желание. Двадцать пять квадратных метров на Доггетт-роуд, влажное пятно на потолке лестничной площадки, синтетический ковёр со следами старых пятен — даже та жизнь, скудная и серая, отсюда казалась подлинной. А здесь всё было слишком чистым, слишком правильным — и оттого мёртвым.

Девушка сделала ещё один шаг по известняку. Глухой, резонансный щелчок разнёсся по Хай-стрит, отразился от фасадов и вернулся — точный, зафиксированный, уже не принадлежащий ей. И пока звук затихал, Алина поняла окончательно: в Холлоуфилде нет ничего случайного, каждая деталь — от мха между камнями до аромата хлеба из пекарни — существует не для неё, а для тех, кто смотрит. Она не гостья и не жительница этой деревни. Она — то, ради чего построен весь этот городок, единственное живое существо в выверенном мире, и всё, что случится дальше, принадлежит не ей, а экранам, на которых её жизнь разворачивается перед чужими глазами без её разрешения... А птицы из динамиков продолжали петь, и им было всё равно, жива ли она на самом деле.

Паб «The Lamb» встретил Алину своеобразным запахом — пиво, вьевшееся в тёмно-красный ковёр с золотым викторианским узором, смешивалось с лаком свежее обработанного дуба и едва уловимой сладостью полироля. В пабах Кэтфорда пахло иначе — прогорклым маслом и мокрыми куртками, ковры там были протёрты до нитей у стойки, и никто не следил за тем, чтобы подушки на диванах выглядели изношенными ровно настолько, насколько нужно

для камеры. Здесь всё было обжито с расчётом — не жизнью, а чьими-то руками, подготовившими каждую деталь к съёмке.

Дубовая барная стойка тянулась вдоль дальней стены, текстура её была искусственно затемнена, латунная перекладина отполирована до тусклого убедительного блеска. На ней в ряд стояли четыре крана — London Pride, Doom Bar, Guinness и Hollowfield Bitter, на этикетке которого был напечатан логотип Peephole. Латунные настенные светильники отбрасывали тёплый приглушённый свет на бордовые подушки кабинок, а за чугунной решёткой камина мерцало газовое пламя — настоящего угля в нём никогда не было.

Алина мысленно отметила этот огонь без углей и дыма и тут же поймала себя на привычке: она уже подбирала слова для описания выразительного образа, уже выстраивала предложение, — писательский рефлекс, который у неё не отключался ни в книжном у Морин, ни в автобусе сорок седьмого маршрута, ни здесь, перед четырнадцатью камерами.

Камеры девушка заметила не сразу — сначала почувствовала. Три за барной стойкой, по две в каждой кабинке, две у входа, три на потолке — четырнадцать объективов, не мигающих красным и не жужжащих, выдающих себя лишь ощущением, что каждый квадратный метр этого помещения просматривается из студии в Чизике. Внутри латунных бра были спрятаны микрофоны. На Доггетт-роуд она жила за тонкими стенами, сквозь которые просачивался рыбный запах из соседней квартиры и скрип чужих шагов на лестнице, — но там это была случайная, а не намеренная близость. Здесь же каждое слово записывалось на отдельную звуковую дорожку и передавалось в другой город.

У стойки, чуть облокотившись на латунную перекладину, стоял Бомбацио. На экране ноутбука в квартире на Доггетт-роуд он выглядел иначе — крупнее, значительнее; камера и софиты добавляли ему роста и объёма. Вживую шоумен оказался невысоким и коренастым, с ровным загаром, неуместным в вечной английской сырости, и зубами, которые напоминались прежде лица: белые, ровные, слегка крупноватые, они занимали всё пространство его улыбки. Маленькие карие глаза, быстрые и внимательные, существовали отдельно от рта — они уже оценивали Алину, пока губы ещё только складывались в приветственную улыбку. Тёмно-синий костюм, безукоризненно чистые манжеты и та отработанная теплота в манерах, которая за десятилетия в эфире перестала отличаться от настоящей, — таков был Бомбацио в жизни.

— Алина, — произнёс он обволакивающим баритоном с лёгкой хрипотцой, делая нажим на первую «А». — Очень рад видеть вас сегодня здесь.

Рука протянулась через стойку. Рукопожатие вышло нейтральным — ни крепким, ни вялым — пожатие человека, который много лет здоровался перед камерами и помнил, что каждое касание фиксируется. Ладонь у него была крупнее и теплее, чем ожидала девушка. Пальцы Алины не дрожали, но кожа на запястье холодела — то же ощущение, что в квартире на Доггетт-роуд, когда баланс на счётчике падал ниже трёх фунтов и тело начинало считать тепло.

Она встретила его взгляд и не обнаружила в нём ничего, кроме профессионального интереса. Бомбацио знал, что в этой комнате именно её реакция определяет содержание ближайшего эфира. Он не смотрел на неё в упор, но и не отпуская взгляда: фиксировал, оценивал и уже переводил в материал. Потом повернулся к краю стойки, чуть склонил голову, и голос его стал тише, интимнее — обращённый одновременно к ней и к двадцати миллионам зрителей за экранами.

— Добро пожаловать, друзья мои! — произнёс шоумен негромко.

Из полутьмы барной зоны появился первый участник. Оливер Хант — высокий, с чёткими симметричными чертами лица, которые на камеру внушали доверие, в небрежно дорогой одежде, выглядевшей повседневной, но стоившей больше, чем Алина зарабатывала за месяц в книжном у Морин. Браслета Peephole Band на запястье ещё не было. Он занял пространство вокруг себя, не прилагая к этому усилий, — не потому что был громким или широкоплечим, а потому что привык, что на него смотрят, и не представлял иного порядка вещей. Алина узнала

этот тип мгновенно: мужчина, который путает настойчивость со страстью и не отступает не из упрямства, а потому что ему не приходит в голову, что «нет» — это законченное предложение.

Красавец подошёл не спеша, с лукавой улыбкой, и протянул руку.

— Оливер. Приятно познакомиться, — произнёс он неторопливо, сделав акцент на собственном имени, и глаза его не играли, а оценивали: спокойно, привычно, каталогизируя. — Я ждал вас, если честно.

Рукопожатие оказалось уверенным и ровным — не приветственным, а запоминающим. Алина почувствовала, что для этого мужчины она уже не собеседница, а предмет оценки, и интерес к нему упал мгновенно, не добравшись до симпатии. На Доггетт-роуд Дмитрий хотя бы не скрывал, чего хочет, — его предложения были короткими и утвердительными, его грубость была прямой. Этот был опаснее, потому что верил, что его внимание уже является подарком.

Ведущий отступил в сторону, освобождая место. К стойке шагнул следующий: худощавый мужчина с тихой, устойчивой походкой. Эдвард Лэм не выделялся ни одеждой, ни жестиком — на фоне Оливера он терялся, и именно это запомнилось. Если бы Алина описала его в своём романе, она дала бы ему роль наблюдателя — персонажа, который всегда на заднем плане и которого читатель замечает слишком поздно. У него были внимательные глаза — пристальные, из тех, что подолгу задерживаются на собеседнике, не объясняя причину. Он наклонил голову чуть ниже, чем требовало рукопожатие, и коснулся ладони Алины без нажима, но задержал пальцы немного дольше, чем нужно для знакомства.

— Надеюсь, у нас будет время поговорить, — произнёс он негромко, не повышая голоса, не делая пауз между словами.

Взгляд задержался на ней — и не отпускал, пока не стал откровенно неудобным. Потом Эдвард отпустил её руку, отступил на полшага. Внутри Алины возникло неясное раздражение: за два жеста — затянувшееся рукопожатие и этот непрерывный взгляд — она ощутила себя изученной без разрешения. На лице это никак не отразилось — только холод пробежал по внутренней стороне левого запястья — там, где через несколько часов защёлкнется магнитный замок браслета.

Третьим вышел Дэнни Бёртон — коренастый, с широкой улыбкой, приветливый и внушающий доверие прежде, чем он успевал заговорить. Простая одежда сидела удобно и практично, браслета на запястье не было. Он не стал ждать, пока его представят, — двинулся вперёд сам, сокращая церемонию.

— Я — Дэнни. Хороший день — бесплатное пиво и красивая девушка. Что ещё нужно для приятной компании? — заявил он с улыбкой, произнося слова с северным акцентом, в котором звук «а» растягивался чуть дольше, чем у лондонцев, и Дэнни этого не стеснялся.

Алина не улыбнулась — но что-то внутри расслабилось. Северный акцент и шутка про бесплатное пиво сбили напряжение, копившееся в ней с первого шага по Хай-стрит, — тело отреагировало раньше, чем она успела решить, стоит ли доверять этому ощущению.

Рукопожатие Дэнни было коротким, дружелюбным — он мягко сжал пальцы Алины и тут же отпустил.

— Будете смеяться — но так красиво, как здесь, у нас на севере никогда не было, даже тёплым летом, — добавил он, усмехнувшись, и отступил от стойки, освобождая место.

С ним оказалось легко. Впервые в Холлоуфилде кто-то обратился к ней не с расчётом, а с тем простым дружелюбием, которое не требовало ответной реакции и не фиксировало её для дальнейшего использования. На фоне Оливера и Эдварда — обезоруживающий контраст, и Алина отметила это писательским рефлексом, не решив ещё, стоит ли этому контрасту доверять.

Четвёртым вышел мужчина постарше — лет сорока пяти, широкоплечий, стройный в талии, с лицом, которое двадцать лет назад было просто привлекательным, а теперь хранило свою историю в морщинках вокруг глаз и в седине, проступавшей сквозь тёмные волосы. Най-

джел Кросс двигался неторопливо, размеренно, и в каждом его движении ощущалось уважение к чужому пространству, а не к собственному. Неброская рубашка, тёмные брюки — ничего, что привлекало бы внимание камеры. Он пожал руку Алине бережно, не отвлекаясь на других.

— Дело в том, что здесь не нужно никуда спешить, — проговорил он медленно, слегка формальным тоном, неуместным среди общей напряжённости. Потом поднял глаза — и взгляд оказался не просто внимательным, а испытующим, — он словно проверял, готова ли она слушать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.